

## Лицо Жар=Птицы

(Обрывки неоконченного антиромана)

Зое, Вере, Лидочке

### Глава I

#### ХУДОЖНИК СИНЬЯК

Из-за границы мне пришел новенький, беленький томик стихотворений Вертинского. Как это ни странно, книгу эту пропустили через цензуру. Она очень изящно издана, и мне понравилась, несмотря на то, что я вполне согласна с Гоголем, что луна и всё остальное, что делается в Гамбурге, обыкновенно прескверно делается...

На начальной странице была надпись от руки над первым стихотворением: «Впиши в мою тетрадку изречений...»\*)

Я своим красивым почерком вписала:

«Это бред. Это сон. Это снится...  
Это прошлого сладкий дурман.  
Это Юности Белая Птица,  
Улетевшая в серый туман...»

Чем больше заходит солнце, тем длиннее становится человеческая тень.

И моя сейчас — длинная, длинная, такая уродливая, черно-тошная, как Дон Базилио. Я ее считаю шагами: один, два, три... И упираюсь в стену. В Китайскую стену, около которой мы с Птицей провели почти всю свою жизнь.

Между вторым и третьим кирпичом, на микроскопическом кривом кусочке земли слабенько колышется какая-то травка.

---

\*) Птица обожала изречения. Уезжая летом «диким образом» в Коктебель, она бомбардировала меня письмами, в которых спрашивала: «нет ли каких новых изречений?»

Позвать, что ли, сюда Клавку Бычкову, ботаничку из 617-ой школы, да спросить ее, не подорожник ли это?

Что это тебя так волнует подорожник? Это несчастное простенькое сермяжное растение, которым интересуются одни кролики?

Англичане говорят, что если подорожник распускается у дома того, кто уехал, это значит, что хозяин никогда не вернется в свое отечество...

\* \* \*

Где Птицей пленной  
Мой сокровенный порыв застыл?  
Кто жизнь и песню  
Судьбой безвестной отяжелил?

Так будет, наконец, хорошо? Я знаю, что прежде всего — эпитафия. Затем — роман. Но выбрать эпитафию оказалось самым трудным. Птица! Верь — я перебрала их тысячи, роюсь в твоей тетрадке «изречений».

Тут был и Блок:

И замыкаю я в клетку холодную  
Легкую, добрую птицу свободную,  
Птицу, хотевшую смерть унести,  
Птицу, летевшую душу спасти...

И Бальмонт:

Эту чудную Жар-Птицу я в руках своих держу,  
Как поймать ее, я знаю, но другим не расскажу.

Устав рыться в изречениях, я сделала перерыв в работе: напилась горячего киселя. И вдруг в моих глазах появился тюль.

На окне у меня тюль, на ручках кресла тюль. Во рту — острый вкус горячего киселя, а в комнате везде тюль. Потянуло ко сну.

Блок и Бальмонт, Бальмонт и Блок.

Бальмонт пишет:

Маленькая Птичка, что ты мне поешь?  
Маленькая Птичка, правду или ложь?

А Блок говорит как раз то, что я хочу сказать:

...Разве в сказке не может быть правды?

В моем сочинении не будет ни одного слова правды... Не пугайтесь. Не пугайтесь!

...И ни одного слова лжи.

\* \* \*

У сердца своя погода. С утра дождь, и у всех мокрое настроение. Я испытываю чувство тоски.

В этом виноват не только дождь. Есть еще три причины.

Во-первых, опять переизбрали в местком, несмотря на мой веский самоотвод (в новой квартире отопление забивается «воздушкой» и надо бегать жаловаться в инстанции). Это одно. Другое — вообще плохо себя чувствую. Третье — больна тетя. Надо ее обслуживать или нет? Ах, тетя, тетя...

Ничего не помогло — переизбрали опять членом, на третий срок.

Во-вторых, получила письмо от Эмки Кукуй из Ленинграда. Она, наконец, устроилась экскурсоводом в Эрмитаж. Чудесно. Раньше ее никак не брали из-за носа. Он у нее какой-то трехэтажный, с крупным загибом в левую сторону. Публика разбегалась. Эмка сделала себе два года назад пластическую операцию, но ничего не помогло. Нос, вместо того, чтобы уменьшиться, увеличился. Думали ли мы, гадали ли, что на носы для работы экскурсовода в таком месте, как Эрмитаж, когда-нибудь перестанут обращать внимание? Эмка ревела — «никогда не перестанут», а Птица и я вопили — «а вот увидишь, перестанут, а вот...» Перестали! И Эмка работает в Эрмитаже.

Но всё равно воображать нечего. Она забыла, наверно, что разговаривает со мной, а не с Димкой Гаевским из «салона» Шкуняевых, и пишет:

*Подбодрила и освежила меня выставка искусства Мексики. Экспозиция так хороша, что понятны полученные ею премии нескольких столиц мира. И само искусство столь мудро и просто в своей первооснове. Больше всего запала мне в душу их простая и могучая вера: не верить в ад, понимать явления жизни объемно, без страха смерти, и принимать не только дары природы, но и их отсутствие. Главное, спокойно видеть не только солнечную, но и теневую сторону жизни. Древность вошла в мою душу...*

Читая письмо, я ехидно фыркала. Если бы не последняя фраза, всё бы еще сошло. Древность, видите ли, пошла в ее душу! Она знает, что я занята в своей библиотеке так, что у меня нет свободной секунды даже для того, чтоб подпилить сломанный ноготь, а не то, чтобы перетирать время, шляясь по выставкам...

И откуда это она выписала такую складную фразу? Я покопалась немного в «Огоньках», «Театре», «Литературе и Искусстве» и нашла ответ. Строчу:

*Простота и человечность, высокая техника исполнения, акцент на события, а не на декорационность — всё это не оставило меня равнодушной на концерте Моцарта несколько дней тому назад в Консерватории. Знаешь, манера исполнения, настройка инструментов, репертуар, — всё перенесло меня в восемнадцатый век, а логика мышления, простота и чистота музыкальной мысли — так по-весеннему настроили мои заржавленные струны и чувства...*

Ловко, правда? Эмка почувствует, что даже без нее и без Птицы я продолжаю расти интеллектуально.

*Приезжай, ради богов, ко мне летом, — писала Эмка. — Подгадаем так, чтобы взять отпуск вместе. Будем ходить гулять в Летний сад и на набережную, а курить больше не будем...*

Пробегаю ее письмо, я сразу же вспомнила графически четкий силуэт Петропавловской крепости над Невой и бело-голубые ночи, парад белоснежных шуршащих льдин с Ладожского озера весной и скрипучий писк чаек у мостов над Невой...

*Ну, а как же то дело? — продолжала расстраивать меня Ку-Ку, — неужели ты даже не начала? Скорей же, а то злободневно! Может быть, ты что-нибудь забыла? Так только напиши, я помню все досконально...*

Увидев, что по залу проходит заведующая, я спрятала письмо в карман своего хорошенького синего штапельного халатика. Потом с очаровательной улыбкой зашуршала тапочками к молодому человеку, который заискивающе смотрел на меня, протягивая требование.

— Бруно Ясенский? Да-а... имеем два экземпляра, но оба сейчас на руках. Закажите из фонда на завтра.

— Ой, девушка, милая...

— Молодой человек, да я бы с радостью, но от меня-то это?.. Разве зависит?

Я врала. Бруно Ясенский был на полке и его, кажется, уже можно выдавать всем без разбора. Он даже появился в магазинах... Но всё-таки это только «кажется», а нужно знать точно. На всякий случай попридержу, а к завтрашнему дню выясню.

Как жаль, что меня перевели из Отдела Редких Книг и Рукописей, где я работала, «на выдачу», для практики. Вечно в движении, от полки к полке, от места выдачи к стеллажам. Иногда приходится выходить даже к столам. Но тогда я называюсь «дежурным сотрудником читального зала»...

В Отделе Редких Книг и Рукописей было так хорошо! Сидишь, пишешь что-то и никто не знает, чем именно ты занята, — не то пишешь аннотации, не то черновики своей диссертации, не то роман... Нет, не роман, а антироман. Что это такое, я и сама еще толком не знаю. Сапожник всегда ходит без сапог. Работаешь в библиотеке, а новинки лишний раз перелистать некогда. Да что новинки? В коридор выбежать да поковырять с истинным наслаждением в носу и то некогда!

Пусть это будет неоконченный антироман, пусть обрывочный полуроман, — но только не «законченный роман»!

Тот, который в двух частях-кирпичах. В кожаном переплете. С золотым обрезом. Тот, который продается с веса, и действие в котором начинается так: «Было это, друзья мои, в бытность мою студентом, — сказал Павсикакий Акакиевич, положив ногу на ногу...»

### ЛИЦО ЖАР-ПТИЦЫ

(1-ый обрывок неоконченного антиромана)

«...сильный ветер пробрался в комнату, увел с собой маленькую бумажку с адресом. Шевельнулся теплый мягкий клубок шерсти, спицы подпрыгнули, с них соскочило вязанье. Новый адрес улетел в окно, но для меня важнее старые адреса ее.

Первый: Птичий рынок. Находится за Крестьянской и Абельмановской заставой, на Калитниковской улице, дом 40. Рынок очень хорошо отделали, и местность совершенно преобразилась. Торговля птицами, рыбами, кроликами и другой живностью производится только по воскресным дням, а рядом находится Калитниковское кладбище...

Второй адрес: Проспект Скворцова-Степанова, бывший Нарышкинский сквер. Дом 3. Дом этот уже давно не серый, каким он был когда-то, а весь заново отделан и выложен облицовкой из светлых метлахских плиток. Если встать к нему лицом, то с левой стороны, на высоте с человеческий рост, находится барельеф примерно семьдесят на семьдесят сантиметров, не больше. Это изображение не то мужской, не то женской фигуры, расположенной на двух, крестом пересеченных линиях. Фигура изображена в положении человека, который собирается не то что-то рубить, не то что-то поднимать, уперевшись крепкими ногами в землю...

А внизу надпись:

ВСЯ НАША НАДЕЖДА ПОКОИТСЯ НА ТЕХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ САМИ СЕБЯ КОРМЯТ

Что значит эта надпись? Я спрашивала у старых москвичей: у столетнего старика Мишина, у Элекониды Сергеевны Молевицкой — никто не знал. Ни в художественной литературе, ни у Гиляровского, ни в старинных справочниках — этот дом не описан нигде...

Адреса Птицы — это спустившиеся петли на моем вязанье. Дрожащими пальцами я пытаюсь набрать их опять на спицу...

\* \* \*

У нас стали делать прелестные малогабаритные приемнички-транзистеры. Говорят, они лучше, чем заграничные. На полупроводниках и приводах, с двумя батареями и с аккумулятором, на пятнадцать часов работы. Аккумулятор можно заменять сто раз. Цена — пятьдесят рублей. По новым деньгам, конечно. Делают их в Риге. Я себе купила. Потому что теперь я это вполне «могу себе позволить». Сижу вот сейчас и кручу рычажок настройки, надеюсь поймать что-нибудь интересное.

И вдруг... Откуда-то издалека, не знаю, на какой волне, ко мне донеслось:

— А я вам говорю, что она, что это она сама, что это ее...

— Как вам не стыдно высказывать такие обывательские мысли! Вы знаете, кто такой был художник Синьяк?

Потом всё затихло.

\* \* \*

Бывший белогвардеец, турист из-за океана, нарочно оставил в Бюро Обслуживания одной из огромных московских гостиниц американскую газету русских эмигрантов.

Фрау Ольга спрятала ее в лифчик и принесла мне.

— Приказ сдавать такие вещи куда следует. А я дура, что ли? Лучше тебе отнесу. Читай, читай... Как у них всё хорошо, а у нас всё плохо...

Фрау Ольга, фыркнув весьма презрительно, удалилась.

В газете было напечатано «стороннее сообщение».

Из зоологического сада в Бронксе улетел розовый фламинго. Экземпляр редкой красоты. Фламинго был пойман год назад в Андах, на границе между Чили и Боливией, и доставлен в Бронкский Зоологический сад. Неожиданно, в понедельник, фламинго поднялся в воздух и исчез. Его

видели на Риверсайд Драйв, около 90 улицы, во вторник. Дирекция Зоологического сада обещает награду в 50 долларов лицу, которое найдет и доставит фламинго.

. . . . .

Вот так штука! Розовый фламинго! В Америке? А русский исследователь, капитан Жеребцов, писал в донесении Географическому Обществу:

Пребывание этой птицы в Америке я считаю загадочным, так как до сего времени розовые фламинго водились только в одной Африке.

Да, капитан Жеребцов писал. Но ведь это было, когда царь Горох с грибами воевал! В 1847 году... А теперь в Америке не только розовые фламинго появились, но даже настоящую Жар-Птицу кто-то видел на кончике Эмпайр Стейт Билдинг. Как ей удалось бросить свою родину, Россию, перелететь почти свободно в Америку, усестся нахально на небоскреб и хоть бы что — считается загадочным...

Обещана награда тому, кто найдет и поймает Жар-Птицу.

\* \* \*

Не напрасно я приплелась на Птичий рынок именно сегодня, двадцать пятого апреля, когда в день Благовещенья все добрые души по старинному русскому обычаю покупают птиц специально для того, чтобы выпустить их на волю...

Привыкши по всяким трогательным и не трогательным пустякам лить слезы целыми ведрами, я вынимаю платочек, обвязанный мне Дашонкой ко дню рождения, и вспоминаю, что в этих случаях Птица, которая была такой же плаксой, как и я, говорила, что если вокруг много народу и «рыдать» неудобно, то надо всегда делать вид, что в глаз попала соринка. Она была специалисткой по их извлечению, и врачаха Дора Львовна, работающая в Институте им. Гельмгольца в Фурманном переулке, говорила, что ей надо было бы сразу после десятилетки идти в Медицинский и специализироваться по офтальмологии, а не тратить свои способности на пустяки.

Только в книгах прислушиваются к пению птиц. А вот вдруг здесь, на Птичьем рынке, в день Благовещенья, голос какой-то малютки в грязной клетке мохнатенького, очень старенького старика, прострелил мне всю голову, довел до мигрени...

Точно голос моей Птицы звал меня с собой откуда-то изда- лека...

\* \* \*

Я перечитала очерки о птицах в литературе — от иудейских голубей Майкова до стихов Багрицкого о птицелове Диделе, я вспомнила о голубях Вити Черевичного и о голубе мира Пикассо, об исчезнувшем розовом фламинго в Нью-Йорке и о том, что по-латыни *gaga avis* значит «чудесная птица». Я даже, полузаткнув уши, пыталась прослушать «Жар-Птицу» Стравинского.

Но ничего ко мне не приходило — только голос австралийской смеющейся птицы кукубары звенел да звенел в ушах.

...А американский корреспондент всё ждал да ждал...

\* \* \*

Вдруг мое малогабаритное радио захрипело тихо снова.

Кто это? Говорят вроде по-человечьи, но голоса и интонации похожи на птичьи. Не они? Розовый фламинго, улетевший из Зоосада на Риверсайд-Драйв, и Жар-Птица, та, которая уселась на кончике Эмпайр Стейт Билдинг? Голоса доносились откуда-то за тридевять земель, и до меня долетал не сам звук, а как будто только отзвук звука...

— Вы имеете представление о том, кто такой художник Синьяк? Если бы вы видели хоть одну его картину, то не высказывали бы таких глупых, обывательских предположений, — интеллигентно и тихо говорила Жар-Птица, а розовый фламинго надрывался:

— Какой Синьяк? Нет, какой Синьяк? Ну, знаете ли, с вами совершенно невозможно ругацца, с вами невозможно ругацца...

— Ах, что вы прицепились? — кротко возражала Жар-Птица, — никакого старца Федора Кузьмича здесь нет...

\* \* \*

От горячего киселя тюль в моей комнате вдруг начал проявлять какой-то рисунок. Только никак не могу понять, — какой? Не то розы, не то кубики, не то птицы... Дырочки, дырочки, перышки, точки...

Картины французского художника Поля Синьяка были написаны способом пуантелизма, иначе говоря — тысячами маленьких цветных точек, заполнявших полотно. Их надо было смотреть издалека.



— Живопись нельзя нюхать, — сердито говорил Синьяк неопытным зрителям, —

ОТОЙДИТЕ ПОДАЛЬШЕ, ДИТЯ...

## Глава II

### МОЯ ПОДРУГА ПТИЦА

Итак, три события испортили мне сегодня настроение. Первое — не приняли во внимание мой веский самоотвод и на третий срок переизбрали в местком, второе — Эмкино письмо с этим «ну что же ты? Пиши скорее, а то будет не злободневно...» И третье, самое неприятное. Это случилось только сейчас, сию минуту...

Когда я пересекла Красную площадь, меня обогнала моя собственная тень...

\* \* \*

Какое счастье выйти на улицу, когда еще светло. Я решила не ехать домой, а пойти пешком на нашу старую квартиру и посмотреть на ледоход. Сегодня, кажется, тронулась Москва-река.

Больше всего на свете я люблю Москву. Каждый раз, когда я прохожу по Красной площади, у меня от восторга замирает сердце.

С Дашонкой, Птицей и Эмкой, с Фанкой, Марианночкой и Кары, с попом Пылаем и стариком Колотушкиным, со своим дедушкой, фрау Ольгой и «ероем» Толькой — я прошла всю ее историю.

У Василия Блаженного и у Мавзолея я всегда долго стою, особенно весной и летом, чтобы полюбоваться этой красотой. Помню, однажды, когда мы с Птицей были совсем маленькими...

Вот здесь совсем недалеко. Спускаюсь на Москворецкую набережную к исчезающему Зарядью, поворачиваю к маленькому, последнему уцелевшему кусочку Китайской стены. Иду к скамейкам. Их осталось несколько. Сидят взрослые, играют дети. И я села...

Перед глазами справа тихо качаются глыбы острого льда. Бедно одетая женщина с хорошими серыми глазами крошит хлеб голубям: мода последних лет. Холодно...

Подошло крошечное толстопопкое создание. Долго смотрело на меня громадными черными глазами и наконец, не выдержав, осторожненько хрипловато спросило: «А как тебя ваут?»

Я очнулась.

— А тебя как? Сережа? Игорек? Или Валерик?

Я перебрала все модные имена и после каждого создание утвердительно качало головой и неопределенно улыбалось. Потом вдруг выдохнуло, отбежало на несколько шагов, трахнуло изо всех сил огромным красным ботом по луже и радостно завопило: «Илисадоф Ович! Илисадоф О-о-вич!»

Создание обмануло меня! Оно прозывалось Александром Львовичем!

И вдруг я вспомнила. Господи! Да ведь сегодня первое апреля!

• • •

Зачем мне всё это? Ну зачем? И Ленинская библиотека, куда только мечтали попасть мои подруги, и место «исполняющего обязанности старшего научного сотрудника», и заочная аспирантура и новая квартира? И Геннадий Петрович со своим «инструментом» и двумя смежными комнатами?

Я хочу подходить, как эта крошка, к симпатичным дядям и тетям, спрашивать, как их «ваут», я хочу бегать с Птицей у Китайской стены, я хочу каждый день ждать с работы Владимира Дмитриевича, слушать, как он откроет дверь и радостно скажет:

— Никаша, Владя, уроки все сделали? А Вивка как? Бабушке не грубил? Ну тогда живо одевайтесь. Москва-река тронулась, пойдемте всей шайкой ледоход смотреть. Только предупреждаю: без галош не возьму!

• • •

Я не живу больше на Солянке. Не живет там больше и Ника Жарова, по прозвищу Жар-Птица. Они еще давно, когда мы были на третьем курсе института, обменялись и переехали на улицу Скворцова-Степанова, на бывший Нарышкинский сквер в дом из светлых метлахских плиток с загадочным барельефом, на котором написано:

ВСЯ НАША НАДЕЖДА ПОКОИТСЯ НА ТЕХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ САМИ СЕБЯ КОРМЯТ

А мы с Дашонкой совсем недавно получили две комнаты в новом доме, в самом центре Москвы, на Пятой Тверской-Ямской.

В дом 36 кв. 119 на Пятой Тверской-Ямской я должна возвратиться сегодня после двухчасового сиденья у многовековой Китайской стены, около которой мы с Птицей провели всё свое детство.

Я люблю, я обожаю возвращаться в пустую новенькую квартиру, где кроме нас живет только одна соседка-одиночка, подсаживаться на табуретке к кухонному окну и представлять себе, как летом чистый хорошенький фонтан в середине двора будет тихо бормотать: «Люба-Наташа, Люба-Наташшшш-шшшш...» Как рано утром я буду просыпаться от счастливого шелковистого смеха детей, идущих стеной на стену («Бояре, а мы к вам пришли»), и как притворно буду хныкать, жалуясь тете Тамарочке и Сюсе Сюрмюль на то, что в воскресенье даже поспать подольше невозможно: с раннего утра начинается: «Дора-дора-помидора, мы вчера поймали вора».

Как теперь уже всегда, всегда буду зимой наслаждаться тем, что у нас в квартире тепло. Как мы мечтали об этом тепле! И я и Дашонка. Обе. С тех пор, как себя помним. Теперь мы этого дождались. И на вопрос наших старых знакомых: «Ну, как в новой квартире-то, наслаждаетесь?», — Дашонка заявляет: «Самое главное наслаждение — это тепло! А когда теплынь в комнате — уж так развязно, так развязно себя чувствуешь!»

Я люблю сидеть дома одна и прислушиваться к тому, как иногда вдруг закрипит моя новая мебель: чешский диван-кровать, финский письменный стол, секретер...

. . . . .

Как-то вскоре после переезда, отворив дверь, я увидела, что в первой нашей комнате сидят четыре человека. Сидели они за круглым импортным немецким столом (и шесть стульев), чудесным гарнитурчиком, за которым мы с Дашонкой, по очереди сменяясь в двенадцать и шесть дня и в двенадцать и четыре ночи, простояли три дня в мебельном на углу Петровки.

Эти четверо были:

Дашонка,

Ерой Толька,

Мордвин Иван.

И какой-то очень высокий, худой мужчина. Его лицо было мне совершенно незнакомо.

Когда я открыла дверь и вошла в комнату, Дашонка пьяненьким голоском сказала:

— Ну, вот она! Гляди-кось, а? Небось на улице и не признал бы? Как скажешь? И не подходи-и-и... Аспиран-ка! — и заголосила, — вон какая дочь выросла у Зини...

Иван, покачивая головкой-корнишончиком и подталкивая по очереди локтем в бок то Дашонку, то незнакомого мне мужчину, перемежая сладенькое с притворно-угрожающим, засюсюкал:

— Эт ктой-то взошел-то, а? Нет, Михаил Яклич, ты только погляди, да эт ктой-то взошел-то?

— Ой-ой, мурзилка, — весело начал мужчина, встал во весь свой огромный рост и вдруг дико и громко заплакал.

• • •

Я сидела в кухне с мокрыми от пота руками и вспоминала недавнее новоселье на этой новой квартире, крики, поцелуи подруг и дикий топот модной ча-ча-ча.

— Раз дают, пользоваться надо, — вопил Левка Галлендер, — пользоваться и брать свои права. Нечего в благородство играть. Раз тебе полагается официально и по закону, ты бери!

Меня крепко (даже крепче, чем нужно) обнял Борис Целебровский.

— Я лично получил десять тысяч. Вернули и пианино. Другое, конечно. А больше всего, скажу я вам, повезло Альке и Наташе Лалетиным, — отдельную трехкомнатную квартиру, двадцать тысяч и участок под дачу в Зеленогорской.

— Если бы не Птица, никогда бы этой балде не пришло в голову подать заявление, — радостно визжала Эмка Кукуй, а Милка Данькова тихим басиком возражала:

— Многие бы и рады подать, да куда — не знают.

— Ничего, ничего, — подхватил Борис. — Еще немножко и всё станет на свои места. Дураков теперь нет, нечего бериевщину разводить. Вот увидишь — не сегодня-завтра будет официально объявлено, что дети таких-то и таких-то могут получить возмещение там-то и там-то, прилагая соответствующие документы.

Такого объявления пока еще нигде не печатали. А появится или не появится оно официально — не имеет никакого значения, потому что вот уже больше пяти лет, как мы все, теперь уже тридцати и тридцатипятилетние «дети», с удовольствием получа-

ем возмещения за своих исчезнувших давно и недавно отцов и матерей.

Борис Целебровский получил двадцать тысяч и отобранное «тогда» пианино.

Алька и Наташа Лалетины — тоже деньги и участок под дачу.

Я... сидела на кухне, думая о Дашонке, Тольке, Иване, о том высоком худом незнакомом мужчине, пьянствующем в нашей комнате.

Это был... мой отец.

\* \* \*

Мой отец был ткачем с Трехгорки, а мать — знаменитой московской портнихой Зиной. С детства я только и слышала: «В ткацком, в прядильном, в чесальном, в отбельном» и «Ах, как изумительно сшито ваше платье! Прямо артистическая работа! Бывают же самородки-портнихи! Даже и не скажешь, что наше — ну заграничное, просто заграничное. Вы, конечно, шили у Зины»?

Когда пьяный дядя Гриша Шуленков, товарищ отца, гладил меня, пятилетнюю, по головке и спрашивал: «Кем же работать-то будешь, как вырастешь-то, а? Портнихой небось? Или в ткацком, как папка, а, невеста?», — я бойко отхихикивалась:

—Гы-ы-ы... Нет, не портнихой... И не в ткацком... Банкаброшницей...

Я думаю, что мой отец был сознательным человеком. Во-первых, потому, что все трехгорковцы с Красной Пресни всегда были в авангарде революции, во-вторых, потому, что он был поэтом-самоучкой и его стихи и рассказы печатались во всех фабричных многотиражных газетах-летучках, а, в-третьих, потому, что меня звали Владиленой, что сокращенно значит «Владимир Ленин».

Мать не хотела давать мне такого имени и долго хныкала:

— Да ну, Миш, да ну его. Может по-другому как... Вон Паня Колоденкова своей девушке какое красивое имя дала, Жозефиной назвала! Давай и мы нашу так...

— Ну и народ, маешь его, — скрипел отец.

«Маешь его» было словом-паразитом и вставлялось отцом после каждого трех слов. Означало оно «понимаешь» и служило ему кличкой среди товарищей по работе. Михаил Колотушкин-Маешь его...

Назвали так, как хотел отец, так что я — Владилена, Владя. А братишку, который был на два года младше, звали Арлен, что значит «Армия Ленина».

\* \* \*

Я еле-еле помню кое-что из своего детства. Мы жили в старом доме, в Волковом переулке, выходившем на Пресню. Отец был какой-то худой и боялся пьянствовать, а мать я очень боялась, потому что она любила колотить меня и брата и всегда ругала отца за то, что он, вместо того, чтобы, как дядя Гриша Шуленков, всё нести «в дом», лежит в рваных штанах на диване и читает Карла Маркса. Особенно злило ее то, что он делает выписки, которые она называла «выписки».

Когда она начинала рвать эти «выписки» и драться с отцом, я убегала из дому и играла с братом Арленком и Жеськой Колоденковой на помойке.

По воскресеньям, с утра, я начинала пицать:

— Папк, папкай, пойдём в Мазоленина...

Отец сажал меня на правое плечо и нес на Красную площадь показывать Ленина.

Отец «Маешь его» очень скоро куда-то исчез, а мы с матерью переехали к бабушке в полудеревню за Петровско-Разумовское. Потом мать, портниха Зина, умерла от какой-то редчайшей болезни «пузырчатки»... Это произошло как-то совершенно непамятно. Осталась фотография похорон. На старой квартире она висела на стене и за ней были воткнуты три бумажные розы. В новых наших комнатах не место такому бараклу, и я бросила фотографию в Дашонкин сундук...

На «фото» — гроб с матерью, бабушка, кipa каких-то старух, брат и я. Босиком, с чолочкой, в бумазейном платье. На лице — ничего, кроме любопытства. Во рту — палец. Того и гляди выскочит с бутылочным звуком.

— Ты, внучка, мамку-то свою с папкой помнишь? А? Мамку-то?

— Да ну-у-у... Н-е-кк...

Дашонка была папиной двоюродной сестрой. Она была молодая. Она была мировая.

Меня отдали Дашонке.

\* \* \*

В 1937 году мне было семь лет. Дашонке, которая в детстве была беспризорницей, — двадцать пять. Она только что вернулась из Сибири, где работала на станции Рухлово. В Рухлово она от-

правилась в 1935 году по призыву партии «ДЕВУШКИ, НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК!» и там вышла замуж за чудесного комсомольца Трофима Горячева, но Трофим погиб в ужасной катастрофе при валке вековых сосен, и Дашонка приехала обратно в Москву.

Навестив дедушку и увидев меня, похожую на палочку корицы, тоненькую, как гвоздик, и изрядно сопливую, она села, провалившись, на деревенскую перину.

— О-о-ой...

Из долгого разговора между ней и дедушкой я запомнила только одну фразу, которую он сказал. Вот она:

— Возьми ты ее, Дашонка. Ничего не бойся. Бог тебе заплатит. Возьми.

Дашонка согласилась меня взять.

Разве я понимала тогда, что мне надо было встать и поклониться ей в ноги до самой сырой земли за то, что она не отдает меня в детский дом, куда отвезли брата, а берет к себе?

Мы с ней стали жить в общежитии полуподвала огромного серого здания на Солянке, напротив бывшего Воспитательного дома.

\* \* \*

По воскресеньям (или тогда еще были «выходные дни?»), мы сидели с Дашонкой на ступеньках какого-то черного хода во дворе. Она принимала в подарок от знакомого грузчика, работающего в «Мясомолсбыте», сто грамм кедровых орешков, потом погружалась в болтовню с ним или подругами, а меня сдавала на попечение древней полуслепой старухе. Старуха любила долго-долго всматриваться в мою физиономию и говорить:

— Дашонк, а Дашонк?

— Нн-о-о?

— А девочка твоя долго жить не будет. Гляди-ка, глаза у нее какие пустые...

— Нн-у?

— Вот как скоронишь ее, тогда и замуж можно тебе.

Я приноравливалась, чтобы укусить старуху за руку. Но кусать было не за что. Вся рука — четыре бугорка, обтянутые кожей...

\* \* \*

Лет десять тому назад в Москве вдруг ни с того, ни с сего начали валиться балконы. Первым обвалился какой-то старик на углу Метростроевской и Померанцева переулков, в котором находится один из особняков Никиты Сергеевича Хрущева. Напротив этого особняка — другой дом, тоже хорошенький. Это бывшая резиденция Маленкова. Конечно, после того, как его разоблачили — он выехал. В этом доме теперь Институт мозга.

А в том дворе на Солянке всегда стояла темень от высоких каменных стен и от понастроенных в виде галерей железных балконов с какими-то косыми лестницами.

И на третьем этаже того же дома, где поселились мы с Дашонкой, жила со своими родителями моя подруга Птица.

Два раза в ее короткой жизни о ней говорила вся Москва. А третий раз — весь мир.

Тогда, первый раз, в 1937 году, говорили так:

— Слышали? На Солянке девочка семи лет с третьего этажа упала!

— Да что вы? Насмерть? — с радостным сорочьим любопытством.

А девочка не только не расшиблась насмерть, но даже не повредила себе ничего, только чуть-чуть вывихнула ножку. Всё обошлось, потому что она упала на единственную в каменном дворе свежевспаханную клумбу.

Катя, домработница Жаровых, в тесном семейном кругу обитателей дома на Солянке, по пять раз в день аккуратно с начала до конца рассказывала всю историю:

— Счастье-то какое! Ну какое счастье, что меня в это время дома не было! В Полуфабрикатах за свиными сосисками стояла... А то бы я виновата была...

К Кате тянулись черепахи старушечьи шеи:

— Ну? А дальше что?

— А то, что Тамара Алексеевна в кухне была, а дверь на балконе не заперта стоит. Ну, Никочка выбежала, перегнулась, да и давай ребятам что-то петь. «Соловей» стала петь, роман такой есть. Уж такая сладость.

Тощая тетя Ксюша быстро забарабанила:



— Не пускают они своих с нашими детьми играть, вот их Бог и наказал.

Другие причмокивали:

— Ведь подумать! С третьего этажа упасть, да чтоб не насмерть?

— Ну птица так если, только птица...

— Птица она и есть птица...

\* \* \*

На следующий день я всю вглядывалась в окно на третьем этаже. Всматривалась, всматривалась, а потом заголосила:

— Птица, Птица-а-а... Выходи-и-и...

Я страшно захотела играть с Птицей в классики, так как за день до этого очередной Дашонкин ухажер, дядька со склада винных бутылок, подарил мне хороший, толстый броский кусок какого-то полустекла. Будет вместо камушка. Отобью ей половинку. Но окно молчало. Потом отворилась форточка, в ней девочка.

— Ты мне кричишь?

— В классики выходи?

— Нет, мне во двор не разрешают... Я с няней Катей под Китайскую стену гулять хожу или в Ильинский скверик...

Ей, кажется, стало неудобно и она тихо сказала:

— Хочешь, я тебе сахару брошу?

\* \* \*

Мысли мои — крошечные чертенята: никак не могу поймать хотя бы одну и додумать до конца. Не могу сконцентрироваться.

Итак, примерно в 1954 году в Москве вдруг по непонятной причине начали валиться балконы... Да и не только балконы. Всё вдруг начало падать и, как заключительный аккорд, обрушился огромный кусок оставшейся части Китайской стены напротив Артиллерийской академии. Ужасная катастрофа была, насмерть убило несколько игравших у стены детей.

Всё это, конечно, было неспроста, и после этого случая почти все балконы в городе Моссовет срочно решил уничтожить. Невзирая на то, когда был построен дом, до революции или после. Невзирая на то, крепкий еще или нет. Для близира, всё-таки, во все здания с балконами прислали инженеров: они постукивали и выстукивали. Аукнут каким-то молотком по кирпичу и металлу,

а потом ждут — каково откликнется? Если что не так — балкон на снос. Если всё так — тоже на снос. Все дома в Москве вдруг оголились. И к нам на Солянку пришли. Птицыному балкону приговор вынесли сразу.

— На этом со дня рождения можно крест поставить, еле дышит. Как еще до сих пор не обвалился?

Так, значит, повезло Птице, что в 1937 году, когда ей было семь лет, балкон не рухнул вместе с ней?

Еще как повезло!

Всю жизнь провели мы с Птицей у Китайской стены: гуляли там маленькими с няней Катей, школьницами сбегали туда с физкультуры и рисования смотреть на первый ледоход, взрослыми просиживали там по несколько часов и, пока не окостеневал язык, рассказывали друг другу события прошедшей недели:

— Ну, а ты ему что?

— Ну, а он тебе?

— Вре-е-шь!

— Да что мне врать-то?

И в тот упоительный тихий вечер сидели. Тихий вечер весны 1954 года.

— Владь, пойдем, что-то прохладно.

— Ну еще минуточек десять...

— Нет, пошли...

Встали и пошли. Не успели дойти до тротуара напротив, как у обеих сразу оборвались сердца: со страшнейшим грохотом обвалилась многовековая, шириной в три метра, Китайская стена и прямо на нашу скамейку.

Под счастливой звездой, что ли, в сорочке или с серебряной ложкой во рту родились мы с тобой, а Птиц?

А неужели нет?

Здорово, Птиц!

\* \* \*

Как-то Дашонку наняли на третий этаж к Жаровым вымыть полы.

— Интеллигенция-то наша, вот уж интеллигенция, — противно разглагольствовала она в кухне перед соседками нашего общежития, — второе из той же тарелки, что и суп, есть не будет, — ку-у-льтурный, а погляди на мебель? Господи, что пылищи-то на всем! Окно пять лет не мыто, подойти страшно. Тамара Алексеевна сама в баню не ходит и детей не водит, купает дома. Ну невыносимо, прямо невыносимо.

Словечко «невыносимо» было у нее тогда в моде, и я его тоже все время ввертывала в свою речь.

В кухне была известная реакция.

— Да ет што-о-ш? — подскакивая за стеклянной стиральной доской, радостно сокрушалась деревенская тетя Дуся.

— Сердце, гыть, у меня слабое, я баню не переносу. Один раз попробовала — еле нашатырем откачали...

— Ить эт пад-у-у-мать?

— А я так скажу: ты на сердце не сваливай — мы все теперь больные. Сама не можешь — детей с Катей пошли.

Если бы Дашонка спустя минуту не вспомнила, что она у Жаровых забыла свой полушалок, то сейчас историю Птицы писала бы не я, а тот американский корреспондент, который обрывал телефон у меня на работе и грозился для переговоров нагрянуть к нам на Солянку. Настоящий ли он американец или нет, я не знаю, потому что по-русски он говорит, как мы с вами, но одет в пиджак с разрезами, а на галстук — пальмы...

В трубку он мне кричал:

— Дорогая Владилена Михайловна, если вы не совсем уверены в том, что вам можно проявить собственную полновесную инициативу, то я сам могу переговорить с вашим начальством. Мы пообедаем вместе, а потом прогуляемся по набережной. Мое любимое место в центре Москвы — это Кремель.

Не знаю, настоящий ли он иностранец или нет...

Дома Дашонка тряслась, что если я позову корреспондента в наш жалкий полуподвал, то узнает завкадриха поликлиники, и ее сократят.

— Владилена, стерва, — вопила она, — если только я его здесь увижу, если только увижу, прям так и... прям так и...

Она настороженно сморщилась.

— Как его еще называть-то надо? Товарищ или гражданин? Гражданин, скажу, не знаю, как вас по имени-отчеству, оставьте вы, ради Христа, нашу жилплощадь!

— А если он книгу напишет, тогда как, а? — бодро голосила я. — А если эта книга в Америке выйдет и на других языках? — я чуть не подавилась, воздух попал не в то горло, — а если деньги пополам, ему и мне? — решила я ее убить самым главным. — Тогда как? Да чего ты разоралась-то? Говорят тебе: всё это будет совершенно легально, он с кем надо договорится.

— Я вот тебе дам легально... Д-е-ньги... Нет, скажи уж, гражданин-товарищ иностранец, Птицына история непродажная...

. . . . .

А тогда, много лет тому назад, посылая меня в квартиру Жаровых за забытым полушалком, она крепко завязала мне шнурки на тапочках и крикнула вслед:

— Гляди, поздороваться не забудь...

\* \* \*

И вот я помню:

— Нет, нет, ну что вы, что вы, Катя? Заходи, девочка. Как твое имя? Ну что ты молчишь? Я у тебя спрашиваю, как тебя зовут твоя тетя Даша. Владя? Владилэна? Ах, даже та-а-к?

За столом сидела маленькая Птица и шила игрушечную молчалку для резиновой куклы. Вивка прятался под столом и щекотал сестру за ноги.

— Ну вот, познакомьтесь. Это Ника, это Вива. Играйте вместе. А меня можешь звать тетя Тamarочка.

Ника, Вива... Ника — это Нинка, что ли? А Вива — конечно, Вова.

Тетя Тamarочка дружелюбно смотрела на меня. Она еще не знала, что мы с ее дочерью уже давно знакомы, и что каждый раз, видя меня во дворе, та открывает форточку и бросает мне в подол колотый сахар и сломанные елочные игрушки.

Тетю Тamarочку с неудовольствием прослушала няня Катя.

— Ну зачем это им знакомиться? — не выдержала она. — Да их таких во дворе сотни бегают. Так и будем всех принаживать? Ходит к нам Эммочка Кукуй из дом двадцать играть, ну и будет. А эти... Дайте ей хлебушка, да и пусть идет со Христом.

Появилось третье действующее лицо. Оно тихо выползло из-за бордовой ширмы. Длинное до полу платье, на голове черная кружевная шапочка и три оладьи — подбородка. Дома да в шапочке? Ей, наверно, холодно...

Старушка была чуть побольше меня ростом. Она посмотрела через пенсне, потрясла оладушками и симпатично проворковала:

— Детуськин, у тебя случайно вошек нет?

\* \* \*

Я была дикой и плохо сходилась с людьми. Бедность прятала меня в углы. Дома, когда кто-нибудь приходил, я шмыгала под стол или кровать. Рыжие шерстяные чулки, заштопанные черным, цыпки на руках, прямые, нестриженные волосы...

Я не знала, про что и говорить с Птицей...

— Это что?

— Рояль.

— А что там у него внутри?

— Ничего, на нем играют.

— Я тоже умею песни играть.

— Ну сыграй.

Я встала по стойке «Смирно! Руки по швам!» и игриво запищала:

Приходи сегодня, милый,  
Нечего бояться,  
Папи-мами дома нет,  
Будем целоваться.

Ни няни Кати, ни тети Тамарочки в тот момент в комнате не было, и я была уверена, что мы с Птицей одни. Вивка не считался, он был младше.

Вдруг в прорехе плохо заштопанной бордовой ширмы показались оладушки в шапочке. Они покачались, потряслись, но как-то ничего не сказали...

\* \* \*

Тамара Алексеевна вечером говорила:

— Володя, так ничего, если эта девочка будет ходить к Никаше и Вивке? У нее хоть лицо... как-то интеллигентнее, чем у других. Даша говорила, что ее кузен, отец этой крохи, был кем-то вроде поэта не то из РАППа, не то из Пролеткульта, не то еще откуда-то, и сам Горький его хвалил.

— Да ну, культа, — мрачно вздыхала няня Катя, — «интеллигентная на лицо»... Все равно с Эммочкой Кукуй ни в жизнь не сравнить... Только нанесет тут, да наших детей плохому научит...

Няня Катя угадала, хотя и ничего еще не знала про частушку, которую я исполнила Птице.

А оладушки — про-мол-ча-ли!

Когда я выросла — я это очень оценила.

\* \* \*

Так я начала ходить к Нике и Вивке Жаровым, играть с ними и любить их. Каждый раз перед тем, как мне идти в двадцать первую квартиру, Дашонка яростно мыла меня в тазу и надевала под байковое платье свою ушитую чистую майку-безрукавку.

— Гляди, не трогай там ничего без спросу. Если Ника будет мармалад давать, не самовольничай, не трожь, а спросись вперед у Тамары Алексеевны.

Да разве я когда..?

И хотя меня всегда сажали пить чай со всей семьей, то только после того, как Птица и Вивка доедали третий кусок, я, мучаясь от того, что все, кажется, забыли обо мне, несчастно краснела и тихо спрашивала:

— Тетя Тamarочка, а мне тоже можно с медом?

. . . . .

1-ый «А», 3-ий «А», четвертый, пятый класс... Они ползли, как солнечные лучи по паркету.

Едва возвратившись после школы домой, я, бросив сумку, летела к Жаровым, несмотря на то, что училась с Птицей в одном классе, сидела с ней на одной парте и мы все утро были вместе.

Самое приятное на свете — это полумрак большой затхловаемой комнаты.

Самое уютное место в комнате — старинное кожаное кресло.

Самое упоительное занятие — сидеть с ногами в этом кресле, оставшемся от бабушки, известного московского врача-ушника, читать старинную книжку «Леди Джен или Голубая Цапля» и слушать, как Птица играет на рояле «После бала» Гречанинова.

Как я ей завидовала! Всё приставала:

— Ну как это, Птиц? Ну как? Научи! Хоть немножко, одним пальчиком!

Наконец тетя Тamarочка показала мне октавы и ноты и велела каждый день сидеть у них по часу за роялем и разбирать сначала правой рукой, потом левой, а потом двумя — к следующему разу. И обязательно вслух считать.

Три урока я потела от счастья, а на четвертом скисла.

— Ой-иии... Я буду лучше слушать, как Ника играет...

— Что-ка? — завопила Птица, отбежала к окну и хныкнула:

— Х-х-ук... Я тоже больше не хочу...

Вивка, не умея сам правильно спеть ни одного мотива, дразнил Птицу тем, что иногда, бросив наполовину собранный завод из «Конструктора», тихо подкрадывался к телефону, набирал номер отца и докладывал:

— Пап, папочка, а Никашка опять в сонатине Клементи додиз не взяла!

После того, как уроки были готовы, мы играли с Птицей в куклы и часто бешено дрались из-за лоскутков, норовя пнуть друг друга ногой в живот.

На сдачу-мелочь, утаиваемую от покупки хлеба, покупали строго нам запрещенных петушков на палочках и с радостным визгом носились с какими-то Зинками Маркеловыми и Вальками Самохиными по соседним дворам...

Как-то однажды, гуляя со мной, Птицей и Вивкой на праздники Седьмого ноября, чтобы показать нам иллюминацию, Владимир Дмитриевич заметил, что я каждую минуту останавливаюсь и яростно начинаю чесать себе ноги. Птица задумчиво грызла ногти. Дядя Володя сразу сочинил нам сказку «О блохатой Кошке и страшной Ногтикусе». Вивка слушал сказку, чуть не разинув рот, и на полчаса позабыл клянчить у отца купить ему «Уди-Уди» или набитый опилками цветной мячик на резинке...

А на следующий день Дашонку призвали на третий этаж в двадцать первую квартиру, вручили большой узел, и с тех пор Тамара Алексеевна начала регулярно отдавать ей для меня Птицыны старые пальто, платья и боты. Не помню, чтоб я стыдилась того, что ношу чужие обноски — всё было такое тепленькое, мягкое. Мягкое! До сих пор не могу забыть и коварно ругаю Дашонку за то, что она не покупала мне, хотя бы раз в год, чулки в резинку, а заставляла надевать кусачие, деревенские, — прямо на голые ноги...

В Птицыных вещах я стала выглядеть почти так же, как она.

Ходили мы всегда вместе. В школу вместе. Из школы вместе. В Дом Пионеров на кружки вместе. Даже зевать начинали вместе. Наша немка-альзошница прозвала нас «Макс и Мориц» и на уроках, подходя к нашей парте, говорила:

— Читайте. Кто-нибудь из вас. Ну, Макс, одер Мориц...

Старухи с нашего двора, глядя, как мы под ручку гуляем по Солянке, добродушно кряхтели:

— Иш-ш-шь... как две сестры...

Дашонка страшно гордилась этим, но я знала, что я так же была похожа на Птицу, как нищий мальчик Том Кенти, спавший под лондонским мостом, был похож на Эдуарда VI, принца Уэльского...

\* \* \*

Я дала себе слово, что не буду больше отвлекаться, и прямо перейду к антироману. Но я не знаю, как их пишут, антироманы эти? С чего начинают? Чем кончают?

Когда Птица сидела за роялем на кончике стула и Владимир Дмитриевич недовольно говорил: «Никочка, ну прошу же тебя: сядь как следует быть!», — я по-кошачьему беззвучно открывала рот за шкафом и смеялась. Как это — «как следует быть»?

А это так, как мне надо писать мой неоконченный антироман, вот как.

\* \* \*

Я чувствую, что мне трудно заставить себя сползти со скамейки и пойти по направлению к нашему старому дому. Не знаю, как Любовь Артемовна, вселившаяся в наш закуток, где прежде жили мы, исполняет Дашонкину просьбу поливать оставленные нами бегонии.

. . . . .

Теперь, когда я вижу Фанку, она с каждым разом становится все меньше и меньше. Больная и старенькая, с ногами, завернутыми в большой старинный клетчатый плед, она в первые теплые дни греется на старом венском стуле у парадного нашего бывшего дома.

Фанка похожа на львицу, состарившуюся в зоопарке.

Она похожа на тигрицу африканских джунглей, попавшую в неволю.

На дикую собаку Динго, одряхлевшую в будке австралийского пастуха.

Всё, что от нее осталось — это две жирные брови-улитки, но и они выцвели.

Прошмыгнуть мимо нее незаметно никак нельзя, и Фанка манит меня полунаманикюрными коготками, когда-то пахнувшими ее любимыми духами «Щит».

— Ну, что тебе Никочка пишет? Твоя подруга? Твоя Жар-Птица? Она счастлива? Она нашла наконец свою тихую пристань?

Ой, Алевтина Феофановна, даже на старости лет никак вы не можете обойтись без этого. Какая-то «пристань»...

Фанка гулко вздыхает.

— Да-а-а... это была девушка... какая это была девушка! Хороша, как наяда... Даже моя Марианночка, сама красавица, всегда



говорила, что когда Никочка шла по улице, то ей казалось, что это идет фэя, настоящая фэя...

. . . . .

На окне лежала собачка,  
Собачка — красные ушки,  
Красные с белым ушки,  
Глазки — булабочные подушки.  
Собачка с красными ушками?  
Глазками-подушками?  
Не удивляйся. Но слушай:  
Собачка была игрушкой!

Вот уж не думала, что Фанка совсем не злопамятна!  
— Ах-х-ххх, вы с ней были такие шалуни...  
И это всё, что она помнит!

. . .

Несколько месяцев нам с Птицей не давали покоя Маргариточка, Марианночка и Ариадночка, дочери Фанки. Эта семья жила на втором этаже нашей лестницы, и в их квартиру несколько раз в неделю призывалось общество — в основном мужское. На вечеринках дочери подвздошными голосами пели трио душераздирающий романс «Помни обо мне».

Вначале мы поступали довольно примитивно: просто звонили в хорошенький звонок с надписью «Только Могилевкиным» и неслись прятаться в Птицыну квартиру. Фанка радостно торопилась приветствовать очередного жениха, но, встретившись только с затхлой лестничной тишиной, безмолвно грозила третьему этажу шафранным кулачком.

Птицьи стихи («Собачка — красные ушки») появились в одном из детских дошкольных журналов только потому, что однажды мы не рассчитали. В ту самую секунду, когда мы, тихо повизгивая от счастья, позвонив Фанке, помчались наверх и захлопнули за собой дверь Птицыной квартиры, парадное отворилось, и художница Сюся Сюрмюль начала подниматься по лестнице «посидеть» к тете Тамарочке, своей подруге.

Появившаяся в этот момент на пороге своей квартиры Фанка затрубила...

...что если бы это были уличные девчонки, дети дворничихи татарки Химы, эти маленькие (все в мать) поганки,

то она бы и слова не сказала. Пожа, пожа, сколько угодно... Но когда приходится, на совершенно непонятном основании, терпеть издевательства от взрослой, да к тому же еще интеллигентной женщины, и не просто интеллигентной, теперь интеллигентных много, а от человека, который претендует на диплом незаконченного высшего образования...

Сюся Сюрмюль вытаращила глаза:

— Алевтина Феофановна! Да какая вас муха укусила? Чтоб я? Звонила безо всякой причины из хулиганских соображений в чужую квартиру? Н-е-т, это надо уметь сказать!

Сюся выдавила из своей груди рыдание, а Фанка прошумела, что на днях она подает на Сюсю в Товарищеский суд, если та ей не поймает настоящих виновников.

В это время мы с Птицей смирно сидели за столом и решали задачки по арифметике.

На следующий день, под завывания географички, которая рассказывала о «сталакти-и-тах», Птица накатала длинное стихотворение-эпиграмму, а меня заставила пририсовать портреты дочерей: Маргариточки, Марианночки и Ариадночки, трио «Помни обо мне».

Стихи подсовывались под дверь Могилевкиных в тот момент, когда Фанка кому-то томно говорила:

— Нет, вы же понимаете! Что касается Маргариточки, то я почти не волнуюсь. С ее умом и внешностью... Марианночка тоже уже получила формальное предложение от того симпатичнейшего узбека Кары Кадырыча, который вам тогда так понравился. Ну, а Ариадночка, средняя и по красоте и по уму...

Не бойся гостя сидячего, а бойся гостя стоячего. Разговор с самой страшной гостьей — гостьей в пальто — велся у входной двери уже не менее полутора часов.

Когда краешек бумажки прошуршал в Фанкину квартиру, она притихла, кинулась со скоростью дальнобойной ракеты на листок, взглянула на него, а потом с громким воплем распахнула дверь и схватила Птицу за руку. На меня она не только не обратила никакого внимания, но, наоборот, гулко призывала в свидетельницы. Птица вырвалась и убежала. Я, окаменев от страха, боялась сдвинуться с места.

В три секунды этой фурией было решено, что:

Во-первых, завтра она идет к нашему директору просить об исключении ученицы Ники Жаровой из пятого класса «А» без права поступления в другую школу,

Во-вторых, она требует, чтобы тетя Тamarочка немедленно поймала дочь, крепко взяла ее за ухо и привела к ней извиняться.

Николай Акимыч, директор нашей школы и преподаватель русского языка и литературы в старших классах, долго читал и перечитывал пасквиль в стихах, написанный Птицей на Фанку и ее дочерей.

— Жарова из пятого «А», — сказал он, глядя прямо в глаза плавающей от злости Фанки. — Какой это оригинальный ребенок... Именно ребенок... Странное, очаровательное существо. Не только хорошенькая, но и сообразительная, как бесенок...

Фанка от возмущения лишилась дара речи...

— Так она, оказывается, не только чудесно на рояле играет, но и стихи пишет? — задумчиво улыбаясь, продолжал Николай Акимыч, — что ж... это очень, очень приятный сюрприз...

Фанка, гневно дрожа телесами, побежала в Музыкалку на Покровке, надеясь, что выгонят или исключат хоть оттуда, но вместо этого Птицу, по рекомендации Николая Акимыча, приняли в литературный кружок Городского Дома пионеров в переулке Стопани. Ее нашли очень талантливой, а всем известный писатель, который вел кружок, сказал, прочитав ее стихи:

— С этой девочкой я согласен заниматься отдельно, серьезно. Она требует особого внимания, и в нашем кружке ей особенно делать нечего. Жаль, что они живут не в Ленинграде. Ей бы надо туда, в Детский Литературный Институт для особенно одаренных детей...

В тот день, когда отзыв этого знаменитого детского писателя узнали в школе, Эмка Кукуй по непонятной причине проревела всю историю.

В тот год, когда Птица по окончании школы получила золотую медаль, без экзаменов была принята в Институт международных отношений, и мальчишки параллельной школы говорили на общем выпускном вечере, что Никино обаяние не только до такого недостижимого учебного заведения, но и до Кремля доведет — Лиля Валицкая, наша другая отличница и соперница Птицы, мрачно нахохлилась и отказалась идти вместе со всеми на Красную площадь встречать рассвет.

Тоже по неизвестной причине.

Несколько лет спустя, когда о Нике Жаровой заговорили — все-все-все! — молоденькие москвички выбегали из учреждений, бюро и приемных, где они работали, и, взбивая модную полукорот-

кую стрижку ноготками-барбарисками, шептали, вглядываясь в Птицыно лицо:

— Эта, что ли? Да ничего особенного... Да если б у нас было; как везде, то нас бы давно всех расхватили...

Потом плакали в уборных.

По неизвестной причине.

• • •

В первый раз о Птице говорили, когда она упала маленькой с балкона. Второй раз, много лет спустя, когда Китайская стена должна была обрушиться на нее, а обрушилась на пустую скамейку, с которой она только что встала, а в третий раз... Говорили так:

— ... не оборачивайся, Владя. Это я, Костя. Ляльку и Ингу сократили, хотя они и клялись, что ничего не знали. Мы все боимся о Нике слово вякнуть. На всякий случай передай ей, чтобы осторожнее ходила по улицам. Теперь вместо балконов на людей начали валиться кирпичи с крыш...

• • •

Когда-то, очень давно, когда мы были пятнадцатилетними девочками, один знакомый Жаровых, очень известный старый артист, обожавший меня и Птицу, написал в ее тетрадку «изречений»:

Нике и Владе.

*«Звезды блуждают, звезды блуждают...»*

*Вырастете и поймете, что это значит.*

Тетя Тамарочка и Сюся украли тетрадку, читали и хихикали. Владимир Дмитриевич целый вечер не отрываясь смотрел то на меня, то на дочь. Я вчитывалась в написанное, но не могла ничего понять.

Самым же последним «изречением», записанным самой Птицей в тетрадку, которая навсегда осталась мне, — было: «Отказываюсь быть в бедламе нелюдей». Из только что вышедшего маленького сборника Марины Цветаевой.

Но это случилось много лет спустя.

• • •

Господи, может ли кто-нибудь ответить на вопрос, что такое «овал лица»? Его можно увидеть, пощупать?

Из какой семьи была Птица? Кто, все-таки, были ее родители? Какого цвета были у них глаза, волосы, какой был овал лица?

Только почему же родители «были»? Они и сейчас есть: вот, вот — темнозеленые глаза, шоколадные кудряшки... Сидят на Нарышкинском и дуются с Сюсей Сюрмюль в домино...

— Ах, я совсем хотела сначала назвать ее либо Клерой, либо Зоей. Знаешь, я тогда читала роман «Дети Солнцевых». Загадала — у которой лучше сложится судьба, по той и назову. В конце концов оказалось, что Зоя вышла замуж за графа, а Калерия нет — и я расстроилась, потому что Клерочка звучит лучше, чем Зоя... А потом придумала: Ника! Мало того, что это старинное русское имя, даже в святцах есть. Нет, мало этого! Представь! Это имя значит — Победа! Ну разве Тамарочка не самая умная? Как в воду смотрела... А Вивка — это по отцу мужа. По их линии. По прадеду. Авив! Они из колокольного дворянства. Какие-то Володины предки из духовенства московского были...

Сейчас тетя Тамарочка целыми днями сидит весною и летом с Сюсей Сюрмюль в Нарышкинском сквере. Сначала они наблюдали, как мужчины-пенсионеры на скамейках играют в шахматы и шашки, а потом сами начали дуться в домино и так отщелкивают фишками, что годовалый сдобный ребенок Павлуша, спящий рядом в коляске, несколько раз вздрагивал и просыпался.

На днях мать увезла Павлушу на другую лавочку, грозясь, что она будет жаловаться в управление «Охраны материнства и младенчества» на то, что бульвар запрудили семидесятилетние дети.

Я прохожу не по средней аллее, а по боковой, за спинами Сюси и тети Тамарочки, чтобы они меня не видели. Сюся что-то тихо шепчет на ухо своей подруге, и обе хохочут. Я чувствую: передается в лицах разговор с американским корреспондентом. Он пристает и к Сюсе. Дайте материал! Напрягите память! Вы же ее знали с детства! Это же такая сенсация! Родителей? Вы смеетесь... У родителей спрашивать бесполезно. Во-первых, потому, что отец работает в таком месте, где предпочитают, чтобы вокруг этого дела было поменьше шума, а, во-вторых, потому, что и он и мать заявляют, что они «тогда» вообще ничего не знали. Да и откуда им что-то знать? Современная молодежь очень скрытная. Извечная тема «отцов и детей»...

— Ах, что вы меня насилуете своими странными вопросами? — кокетливо подвизгивает Сюся своим меццо-сопрано, разговаривая с этим неугомонным собирателем всяких сенсаций в Советском Союзе, — ну кому нужна такая старуха, как я? Да чтоб вам скиснуть, ну откуда я могу быть в курсе, когда эта дурочка со

мной никогда ни о чем не делилась? Разве они советуются с опытными людьми? Теперь другой век! Дру-гой! — Сюся откидывает голову назад специально, чтобы показать, что она в данный момент заливается смехом. — А вот вы спросите лучше у ее любимой подруги, у Влади Колотушкиной, — с энтузиазмом продолжает она, — да, да, у Владьки... Вот тут уж... Никакой профком, ни местком, ни даже сам партком вам не расскажет столько, сколько подруга. А я же только художница, моя специализация — обстановка со вкусом новых квартир у нашего правительства, вы понимаете? Ну что я могу, когда я только модельер и ко всяким таким делам имела отношение последний раз не меньше чем лет двадцать тому назад, когда глаза еще блестели...

Тетя Тамарочка покачивает темно-синей шляпой и время от времени попрыскивает с большим удовольствием. Я никак не могу понять, где ее овал лица? Синяя шляпа теперь переделана помодному, к великому удовольствию художницы Сюси. Вышло так, как она говорила. Три года назад, когда шляпа была только куплена и тетя Тамарочка спряталась за бордовую ширму, чтобы укрепить ее на голове, а потом выйти и поразить нас в самое сердце, Сюся кисло-сладко сморщилась:

— Тамарочка, к твоему овалу лица совершенно не идут отогнутые поля. Намерь по-другому...

— Мне? Не идут? Отогнутые поля? Да это всю жизнь был мой стиль...

— Вульгер, вульгер — громко верещала Сюся, скрывшись где-то в темном закоулке между уборной и кухней.

Тетя Тамарочка могла три часа рыдать из-за отогнутых полей, овала лица и вульгера. Рыдать так, как будто у ней в гастронOME у Елисеева на улице Горького стащили двухнедельную получку в то время, как она выбивала за сто пятьдесят грамм ветчины.

Больше о ней сказать нечего.

\* \* \*

Владимир Дмитриевич совсем в другом духе. Я его люблю, но в детстве очень стеснялась. Однажды, когда мне было девять лет, я, сидя за бордовой ширмой в дедушкином кресле, подслушала, как он, играя на рояле, пел старинный романс: «Я не помню тебя после долгой печальной разлуки...»

Каждую неделю, не говоря о премьерах, он один ходил в Ху-

дожественный театр, и недавно умерший старичок-капельдинер Иван Николаич, работающий там чуть ли не со дня основания, по-старинному кланялся:

— Здравствуйте, Владимир Дмитриевич.

И всегда сажал Птицыного отца в пятый ряд на одно из кресел с металлической дощечкой на спинке. На дощечке одного кресла было написано: «К. Станиславский». На дощечке другого — «В. И. Немирович-Данченко».

На эти персональные места очень редко разрешают сажать. Только почетных посетителей.

Вот самое важное и главное, что надо сказать об отце.

• • •

У Птицы были такие длинные ресницы, что когда встал вопрос об очках «на дальность» (только для кино и театра), надо было решить, что делать: подстричь ресницы или заказать за бешеные деньги у частника особенные, сильно вогнутые линзы.

В остальном она была похожа на тетя-Тамарочкины бежевые кудряшки и на огромные глаза отца. Большей частью кудряшки, намотанные на палец колечками, смиренно лежали на лбу. Иногда они вдруг становились дыбом. Тогда Птица распрямляла их, отмачивая водой, и закручивала на затылке фигой-пучком. Эту прическу я называла «Сарынь на кучку». Птица протестовала. Нет, это «Дондер-шиш» — самая модная итальянская прическа.

Когда она периодически ходила с Дондер-шишем, ее лицо становилось совсем другим. Не лучше и не хуже, а просто другим.

Таким же изменчивым, как лицо, был и ее характер и настроение.

То она всех любила и всем улыбалась. Была отчаянно веселой и жизнерадостной, и все ее подруги, приятели, все наши общие знакомые и соседи в один голос утверждали, что Никаша — самое обаятельное существо в мире. В такие периоды с лица ее почти не сходила очаровательная маленько-зубая улыбка («шаловливая» улыбка, конечно!), и известный московский профессор психологии, лекции которого факультативно слушала Птица в своем институте, требовал от нее курсовую работу под названием «Как мне удалось добиться всегда жизнерадостного настроения», — потому что был в восторге от ее чисто московского лукавства, «розыгрышей» важных и неважных лиц, от ее очаровательной, в

растяжечку, московской речи и от ее всегдашнего прелестного оживления.

А то...

— Опасный человек твоя Птица, опасный человек, — ловко подбирая крошечные слезки носовым заграничным платочком, лепетала тетя Тamarочка, — ну и что ж из того, что по радио «Меланхолическую серенаду» Чайковского передавали? Это не объяснение, это не повод для расстройств... Нет, послушайте, — обратилась она к роялю, — вхожу я вчера из кухни в комнату, по радио передают эту вещь, а драгоценная дочь моя сидит у теплой батареи и плачет...

Тетя Тamarочка убежала в кухню. Тоже плакать.

— Нет, Владилена, объясни мне, пожалуйста, что теперь с вами со всеми творится? — возмущенно продолжала она, войдя через две минуты обратно, — мы в ваши годы были совсем не такими, хотя росли в ужасное и голодное время революции. Каждый имел идеалы. А теперь что? И она мне не стыдится рассказывать такую вещь.

Тamarочка передохнула, а я насторожилась.

— Стоит она как-то в раздевалке в институте и вдруг подходит к ней один аспирант. Да. Аспирант.

Тут была сделана пауза, а на меня брошен выразительный взгляд — не знаю ли я чего про аспиранта? Специально заостряя внимание на этом слове, она произносила его с длинной растяжкой на «а», — «аспира-а-а-нт».

Так как? Просто аспирант или «знакомый аспирант»? Случайно подошел или они уже порядочно как «встречаются», а она еще ничего не знает?

— ... И он ей говорит: «Извините, пожалуйста, девушка. Знаете, я очень увлекаюсь психологией и меня страшно заинтересовало ваше лицо! В нем есть что-то оригинальное, нервное, необыкновенное... Вы необычайно привлекательны... С точки зрения психолога, конечно.

Я неопределенно вздохнула, что должно было означать, что об аспиранте я ни слухом ни духом... Ах, так?

— А я ей сказала: когда будете с Владей и Эммой поменьше думать о разных бельгийских шарфах, венгерских босоножках и других туалетах — тогда все будет в порядке.

В те дни, когда Птица, сидя у батареи, плакала, слушая «Меланхолическую серенаду», в те вечера, когда мы вдвоем ехали на автобусе из института домой и вместо того, чтоб подробно расска-



зывать мне о своей встрече в пятницу у театра Ленсовета с И. М., (sic!), — Птица вдруг садилась к окну и, отвернувшись от меня, внимательно всматривалась в черную муть проплывающих улиц — на солнце появлялись пятна. Эти пятна на солнце да еще метеориты, падающие в тот момент на землю, влияют на настроение людей с наиболее тонкой душевной конструкцией.

В такие вечера даже я, под влиянием моей подруги Птицы, начинала дни и ночи напролет опять думать о Соломенной сторожке.

### Глава III

#### СОЛОМЕННАЯ СТОРОЖКА

Это колечко с зелеными хризолитами теперь у меня. Оно было сделано в старину в России, потом лет сто пятьдесят прогостило во Франции, а теперь опять в России. На моей правой руке, на безымянном пальце.

Казалось, что, убежав из детского лагеря со станции Катуары в Москву, чтоб искать «то место», мы с Птицей нарочно хотели заблудиться в старинной сказке.

... хрустальный граненый шар излучает волшебный магический свет... Светлые сумерки. На небе начинает появляться луна: лицо с разбойничьим выражением. Внутри шара прозрачно, — там видна старая церковь, а перед ней — волшебная полянка. И сидят, улыбаясь, дети в лучах медленно угасающего света. Я гляжу на эту тихую полянку и чувствую, как у меня один за другим отрываются кусочки сердца. Это то место, где ходят люди, все фиолетового цвета и без одной руки, где мокнет в луже самокат, где земля вся покрыта опавшими листьями, где собака лижет мне ноги. Это то место, куда я каждый день хожу повидать Валю и Витю Ксенофоновых.

Это — Соломенная сторожка.

\* \* \*

Вечерами каждой весной над Москвой стоит не то слабый туман, не то какой-то легкий чад. Ни в одном другом месте я не замечала этого чада — ни в Ленинграде, ни в Сибири, ни на юге...

В Москве же этот чад не выветрился со времен царя Алексея Михайловича.

Каждый раз в начале весны, примерно в феврале месяце, мне начинает хотеться блинов, несмотря на то, что о приближении какой-то масленицы я не имею никакого представления. Вообще я ем их редко и хочу редко, но каждый раз ранней весной, именно тогда, когда над Москвой стоит легкий чад, я чувствую во рту вкус горячего тонкого блина и мысленно облизываю с пальцев капли жидкой сметаны.

Что-то я не помню, чтобы были какие-то песни, посвященные масленице. Одну только мы знали, песенку Лещенко, и всегда во все горло ее завывали, шатаясь втроем по городу. Птица, Эмка Кукуй и я.

Прохожие шипели:

— Вот вам советская молодежь... А еще на тургеневских девушек похожи! И где это они набарабанились?

И без них знаем, что даже кабацкие женки во времена стрелецкого бунта не могли позволить себе такого, танцуя у Разбойного приказа в Кремле...

И еще: каждый раз ранней весной моей подруге Птице не спалось. Она начинала день за днем просыпаться в пять часов утра и больше не могла уснуть...

Владимир Дмитриевич говорил: нам грезится то, что переживали наши далекие крестьянские прабабушки и прадедушки: Ника не спит потому, что прадедушке ее надо было вставать, запрягать лошадь, выезжать пахать... Я умирала по блинам потому, что прабабушке моей надо было подниматься, чтобы доить козу... ставить тесто на блины...

Это говорила в нас кровь наших далеких предков...

• • •

Сколько раз я твердо решала: сегодня расскажу Марье Афанасьевне, что я почти каждую ночь вижу Валю и Витю.

Валя была первой ученицей по чистописанию. Витя всю жизнь промечтал иметь собственный самокат.

Я вижу Валю и Витю каждый день.

То вижу их маленькими. Валя пишет своим красивым почерком плакатик: «ОСТОРОЖНО, ЛИСТОПАД!» Витя катается под окнами на самокате. Я глажу мокрую грязную собаку с дрожащим хвостом. Она лижет мне ноги через чулки. Мне сладко от того, что к нам снова вернулась пора нашего детства.

То вижу и разговариваю с ними — взрослыми. У Вали — длинные жидкие волосы, на Вите белая рубашка и вязанные та-

почки. Он хватает меня за руку длинными пальцами, — в ладонь мне впиваются острые, давно, лет двадцать пять не стриженные ногти:

— Завтра придешь?

Обязательно, обязательно... Я каждый день сюда прихожу...

... темный проходной двор, светлый магазин, куда я каждый раз хожу с ними, чтобы съесть пончик с повидлом или сдобочку и выпить стаканчик настоянного морского гриба, — напитка, который так артистически делает их мать, Марья Афанасьевна.

Я никак не могу решиться спросить у них, почему они никогда, никогда не задают мне вопроса о матери: ведь мы все живем в одном городе, и я часто встречаю ее, бегущей за кефиром в «Молочную» на Солянке.

. . . . .

Марью Афанасьевну, мать Вали и Вити Ксенофоновых, я часто встречаю в очереди за кефиром или сырковой массой в «Молочной» на Солянке...

Как я ни притворяюсь, что не вижу ее, как ни пытаюсь делать задумчивое лицо и смотреть через окно поверх ее платка на макушку высотного здания у Котельнической набережной, — она тихо подкрадывается ко мне и трогает за локоть.

— Ой-й, — притворно вздрагиваю я, — здравствуйте, Марья Афанасьевна, ну... как вы?

— Да я-то что же? Все так же... Доживаю... — тихо шуршит Марья Афанасьевна, — одна отрада: на вас да на Нику с Эммочкой любоваться... Сколько вам? Уже? И мои бы сейчас такие... Эммочка и Никочка не забывают меня, забегают по старой памяти грибка попить... А вы и не зайдете никогда...

Марья Афанасьевна тает в другом конце очереди.

Я нервно сглатываю и чувствую, что мне становится жарко под шерстяной кофтой. Мне стыдно не навещать Марью Афанасьевну, но я не могу у нее бывать. Прежде всего — мне как-то не по себе. А потом — я... Не могу. Никак не могу собраться с духом и рассказать ей о том, что только сегодня я видела ее детей, Валу и Витю. Мы сидели на высоких вертящихся стульчиках, пили морской гриб, вспоминали наше детство: как Витя обливал меня водой, как мы нарочно портили гнутой копейкой телефон-автомат, а потом крали из него начинающие сыпаться гривенники, как дразнили Люду, маленькую калеку, крича в такт ее прихрамыванию: «Рупь-пять, десять сдачи, рупь-пять, десять сдачи»...

Вспоминали и смеялись... И сегодня я опять увижу их, и мы будем вспоминать, вспоминать. И я боюсь...

... боюсь спросить у них о Марье Афанасьевне.

Боюсь рассказать Марье Афанасьевне о них...

А больше всего боюсь спросить у самой себя: где правда — «ТО» или «ЭТО»?

\* \* \*

«ТО» — это Марья Афанасьевна, тихо трогающая меня за локоть в очереди за кефиром, грязь на Даниловском кладбище, где хоронят двоих детей, умерших в один и тот же день и час от дифтерита.

Какой-то мужчина говорит рыдающей женщине:

— Ну что ты, Маша, что ты... Сейчас-то рано еще... Ты погоди... Вот опускаться будут, тогда вместе поплачем...

Эта женщина — Марья Афанасьевна Ксенофонтова, мать детей.

— Бедный мальчик, бедный мальчик, — какая-то молоденькая женщина закрывает лицо руками.

Эта молоденькая женщина — Анна Анисимовна, учительница третьеклассника Вити.

— Ой, Валечка, ой миленькая, ой зачем ты умерла? — выводят две пискли.

Эти две пискли — мы с Птицей. Валя Ксенофонтова училась с нами до второго класса, была нашей четвертой подругой и сидела на одной парте с Эмкой Кукуй.

Это все — «ТО».

А «ЭТО»...

Зима — кружатся снежинки, не то неуклюже, не то грациозно, так медленно, медленно...

Весна — дом, почти до окон заросший травой. Около него в луже мокнет детский самокат.

Лето — не то подсолнечник мне улыбается своей плоской желтоватой рожей, не то сыплется колючий ледяной град...

А осенью — на кустике масса комочков. Не то выросли сказочные шишки, не то притаились живые воробьи. На дереве сидит белка. Ее висящий хвост напоминает нам с Валею и Витей не то елку, не то сосну наоборот...

Вся земля покрыта фиолетовыми листьями. На домике висит большой плакат: «ОСТОРОЖНЕЙ, ЛИСТОПАД!»

То ли сонная дрема, то ли сладкая греза налетают на меня летом и зимой, весной и осенью, днем и ночью.

Налетают, кружат, не дают понять, где «ТО», а где — «ЭТО»...

\* \* \*

Помните стихи?

По улице ходили Дремота и Зевота,  
Дремота забегала в калитки и ворота...

У Соломенной сторожки был конец света. Устроен он так: кусок земли, который с одной стороны окружал океан, с другой — паутина, а с третьей — бездна. Четвертая сторона была землей, откуда к этим трем страшилищам придет когда-нибудь каждый человек, чтоб окончить свой земной путь.

Птица никак не могла решить: какую же сторону, самую нестрашную, ей выбрать: запутаться в паутине, прыгнуть в бездну или броситься в океан? — и поднимала в детском сне-полутрансе крик и плач на всю спальню пионерского лагеря. Вбегала вожа-тая:

— Ника Жарова, сколько раз я тебе говорила, что нельзя на ночь читать страшное. Повернись сейчас же на правый бок...

— Я выберу океан, — повернувшись к моей кровати, стоящей рядом, говорила, тихо постанывая от недавнего страха, Птица, — это не так страшно. Прыгну в резиновый круг и поплыву...

И вижу я уже взрослую Птицу: она прыгает в огромный спасательный круг, изо всех сил гребет в открытый, далекий, бесконечный океан...

— Вернись, Птица, вернись! — надрываюсь я на берегу.

А она машет мне рукой и смеется...

\* \* \*

Я напрягла свою память до конца, но по-моему мне что-то так и не удалось вспомнить, не удалось восстановить до конца не то отрывки какого-то детского сна, не то эпизоды из жизни почти совсем забытого мною мира.

Не то:

Была там Соломенная сторожка.

Не то:

Встречалась я там с Валею и Витей.

Не то:

Прилетит туда из-за океана Жар-Птица, сорвавшись с Эмпайр Стейт Билдинг. Придет к Соломенной сторожке. В нейлоновом платочке, с карманным телевизором и в лаптях...

Не то:

Нет.

\* \* \*

Тихо шепчу: Соломенной сторожки проезд и тупик. Между Новым и Старым шоссе, Тимирязевского района. Ехать надо на первом трамвае... Путь следования: Покровские ворота, Кировские ворота, Сретенские ворота...

Всю мою жизнь, столько, сколько пока прожито лет, я не могу досмотреть до конца одно и то же: два трамвая развозят нас с Птицей в разные стороны. Незнакомый город, конечная остановка — кольцо, кино на углу. Старинное русское кладбище, бумажные розы шуршат на могилах. Кого-то хоронят. У всех радостные лица. А мы с Птицей, задыхаясь до колотья в паху, бежим... бежим смотреть и каждый раз опаздываем. Прибегаем — все кончено, никого нет, — только бумажные розы тихо шуршат от ветра.

— Птиц, как ты думаешь, кого это хоронили?

— Меня, — равнодушно отвечает она, — это моя могила...

Остановка пуста. К ней подползает большой серый вагон без водителя и кондуктора. Осень, и сбоку трамвайной линии висит стенд со странной надписью, которую мы с Птицей никогда не могли понять. Надпись гласит: «ОСТОРОЖНЕЙ, ЛИСТОПАД!»

Почему трамвай должен быть осторожным именно в листопад и как может он без водителя понять надпись? В какой город мы попали с Птицей и на какой остановке ожидаем трамвая?

Мы одни в хмуром вагоне, сидим, прижавшись у окна. Под грустное звяканье, сцепившись с Птицей руками, мы закрываем глаза. Мы едем... И вдруг... Тихо и медленно моя подруга Птица куда-то уплывает. Трамвай делится надвое, и я остаюсь одна, но вижу лицо Птицы в другом вагоне-двойняшке. Она смеется и машет рукой, показывая мне рукой наверх, я задираю голову и читаю название конечной остановки, той, на которую отсюда привезет меня серый трамвай. Там написано «Соломенная сторожка».

Как же так? Две Соломенные сторожки? Птица едет туда и я туда же, а двигаемся мы в разные стороны?

. . . . .

Много-много лет подряд ночами вижу я одну и ту же картину: большой серый трамвай расщепляется надвое, превращается в близнецов. Близнецы разъезжаются, ползут в разные стороны. В одном сию же минуту еду в Соломенную сторожку. В другом — Птица. Она тоже едет в Соломенную сторожку. Она сидит у окна.

— Птица, Птица, вернись! — кричу я.

А она машет мне рукой и смеется...

\* \* \*

— Владя, Владька! Да повернись ты на правый бок! Целый день работаешь, как трутень, а глядишь — и ночью покоя нет! — слышу я угрожающий голос тетки. — Тыщу раз ей говори, что на сердце спать вредно. И чего она орет по ночам, спасу от нее нет! Я сплю будко, а вставать-то в семь утра! Несознательная!

Утром, в оправдание, я рассказываю Дашонке, что во сне я видела Птицу, только свою подругу Птицу Жарову, Жар-Птицу и больше ничего.

— Ну, что ж... — замечает Дашонка. — Это ничего. Со своей да с любимой подругой да во сне не повстречаться? Это можно... А вообще птиц видеть во сне нехорошо — к потере...

\* \* \*

После прихода из Третьяковки, где мы с Птицей чуть не час глядели на картину Саврасова «Грачи прилетели», она весь вечер умильно заглядывала прямо в глаза Владимира Дмитриевича.

— Папусик, а... этот попик, он здесь жил? В этой церкви? Ну посмотри на картинку... В этой? — Птица подсовывала под глаза отца репродукцию «Грачей».

— А почему так смешно это место называется — Соломенная сторожка?

Я сидела неподвижным бревном. Потом тихо взяла одну из репродукций и побрела к двери.

— Куда ты, Владьк, сиди еще...

. . . . .

— Дашонк, а Дашонк, — осторожно рискнула заикнуться я, выяснив, что тетка в хорошем настроении пришла с работы по случаю того, что в тот день водопроводчик Митька наконец отдал ей пятерку, взятую год назад в долг, — посмотри на эту картинку... Репродукция называется...

— А чего на нее смотреть-то, на эту продукцию?

— А... мы с дедушкой здесь жили? Правда здесь? Смотри! Помнишь, еще два фанерных человечка были один напротив другого? Дедушка качал меня и говорил: «Мишка-Гришка, Мишка-Гришка»... А эти фанерные в разноцветных штанах кланялись друг другу...

Вечером пришла няня Катя одолжить у Дашонки закваски.

— Что же это, Дашонк, опять они за старое дело принялись? Мало мы изволновались, когда они летом из лагеря сиганули? Да

что же это делается-то, а? Второй день нашу ни за уроки, ни за музыку не усодишь... Все сторожка, да сторожка. Господи, да что в ней, в сторожке в этой? Ну сел в воскресенье на трамвай, доехал до Савеловского, а там совсем близко.

Дашонка свирепо посмотрела на меня. Я чувствовала, что после ухода няни Кати она задаст мне хорошего «ремня».

— Наши сроду детей не ругают и пальцем не трогают, — продолжала волноваться няня Катя, — а тут уж Тамара Алексеевна не выдержала да и говорит: «просто не знаю, что и делать с ребенком? Не то к психиатру ее вести, не то драть, как Сидорову козу...»

\* \* \*

Где я жила с бабушкой, после того, как из Волкова переулочка внезапно исчез мой отец-пролетарий-поэт-самоучка и умерла мать-мещанка, знаменитая московская портниха Зина?

Помню какую-то старенькую прелестную церковь, небо, на которое было больно смотреть из-за золотого солнца. Там я училась у Вали красиво писать и гладила симпатичного пса, который только мне одной лизал ноги... Помню лужи, лужи... В этих лужах и теперь мокнет Витин самокат...

У меня был дедушка, кротчайшее и добрейшее существо. Он сидел на лавке, а я, вся в экземе, копалась у его ног в песке, делая куличики.

— Дедунь, расскажи сказочку!

... Жил на свете живулечка, как ему Господь повелел...

— Дедушка, спой песенку!

...Блошка банюшку топила

С золой щелок щелочила...

Я не хотела никому давать свои формочки и замахивалась на мальчишек, пробовавших стащить из-под моих рук немного «сырого» песочку.

Мальчишки подбегали к бабушке с дрожащими губами:

— Дедушк, дедушка, а ваша Владька дерется...

— Э-э-х, милота моя милая, — тихо говорил дедушка, — ну что ты? Господь с тобой. Товарищи Ленин со Сталиным что нам велят? Велят они людям теперь друг с другом делиться... И правильно. Отдай.

И кто бы ни проходил мимо, мужчина или женщина, старик или ребенок, кто бы ни говорил: «Здравствуйте, дедушка!», — он вставал с лавки, снимал кепку, кланялся и тихо говорил: «Доброго здорovia!»



\* \* \*

На Калитниковском кладбище похоронен мой дедушка. Он показывал мне свои желто-бежевые глянцевитые руки. Пальцы на его руках не только не сгибались, но даже не сводились вместе.

— Это, дедунь, отчего у тебя так, а дедунь?

— От деревенской работы. Вот раньше-то как жили мы, не то что вы теперь...

Помню, худая, как кочерга, страшная старуха Ивановна, по прозвищу Баба-Яга, как-то спросила дедушку, боится ли он умирать.

Он тихо ответил:

— И мы, русские, и которые французы с немцами, и какие ни на есть китайцы и иудейцы — для всех одна будет манность небесная, если кто праведно жил...

Калитниковское кладбище, там, где теперь Птичий рынок, закрыли, когда я была совсем маленькой, и кто мог из родственников — разобрал покойников, чтобы перевезти на другие места. Мы тоже поехали.

Сначала могильщик поддевал гроб веревкой. Потом спрыгнул в яму и повозился там несколько минут. Потом вылез и сел возле Дашонки.

— Давно его хоронили-то?

— Да уж порядочно... А что?

— Вот то-то «что»... Святой он был у вас...

— Откуда вы-то знаете?

— И знать нечего. Не сгнил он, гражданочка, вот что...

Дашонка заголосила.

— Вот уж люди не ошибутся, вот уж не ошибутся... Ему и прозвище от соседей было «святой»... Все его так звали. Святой да Святой...

Могильщик уговорил Дашонку не трогать дедушку.

Кладбище закрыли только на реконструкцию, а потом вновь открыли перед войной.

Вот часовня, за часовней первая аллея направо, потом налево, потом опять нап...

Кружимся, кружимся с Дашонкой, ищем да ищем дедушкину могилу и никак не найдем...

\* \* \*

Дедушка гладил меня по голове и говорил:

— Уж ты баловница ты моя... Все вы, Колотушкины, по женской линии баловницы такие отбойные... Ты почему до трех лет говорить не хотела, а?

Дедушка смотрел мне прямо в глаза.

— Мать твоя, а моя сноха Зина, думала, что немая ты будешь. Уж к врачу хотела. А ты вдруг как-тоходишь к ней под праздник на седьмое ноября, дерг за платье, голова такая огромная у тебя была, да и говоришь: «Мамушка, а мамушка, дай денежку, праздник на улице, пирожка хочу...»

Я надула губы, вспомнив постоянные материны лупцовки.

— Все вы, Колотушкины-женщины, озорницы да баловницы... Мужчины у нас в роду тихие, как овцы, а уж женщины... В бабушку ты мою, в Варвару, наверно... Сто раз всем рассказывал, как она французов в двенадцатом году в Москве напугала.

\* \* \*

По всем правилам начинать нужно так:

Нет, не пошла Москва моя

К нему с повинной головою...

Или:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром...

А то:

Незванный гость хуже татарина.

Это взять за эпиграф? Или что-нибудь пооригинальнее?

Как-то, несколько лет назад, когда я только начала проходить практику в библиотеке, ко мне подошли вместе (для храбрости) две молоденькие студенточки и с вспотевшими от смущения носами спросили:

— Девушка, извините, мы точно не знаем...

Потом хором выпалили:

— У вас нет, случайно, стихотворений Зинаиды Цветаевой?

— Это надо посмотреть сначала по каталогу, а потом подать требование... Наверно это в фонде, — сурово посмотрев на них, ответила я, — но только кто же вам в точности-то нужен, Зинаида Гиппиус или Марина Цветаева?

Они так же хором покраснели:

— Да вот знаете, еще стихи есть: «У меня в Москве колокола звонят...»

Это беру за эпиграф.

\* \* \*

Перед приходом французов в Москву только что определен был к церкви в дом главнокомандующего отставной священник, по прозванию Пылай, которого Наполеон на другой день входа в Москву потребовал и повелел ему за собою следовать в Кремль.

Войдя в Успенский Собор и облокотясь на престол, Наполеон приказал священнику в полном облачении представить архиерейское служение с осенением свечей. Потом, в своем присутствии, заставил Пылая снимать драгоценности со всех икон и с великим небрежением осматривал святые мощи чудотворцев московских, а иконы святителей Ионы и Филиппа, при них находящиеся, хотел взять с собою. Пылай, в знак милости Наполеона за весь этот маскарад и кощунство, тут же облачен был в найденную бархатную рясу и камилавку. По возвращении преосвященного Августина в столицу, наполеоновское шутовское платье было снято с Пылая при отправлении его самого в Соловецкий монастырь...

\* \* \*

Молодой священник церкви Пресвятой Богородицы в Бутырьках, отец Иван, часа уже четыре сидел за столом, сочиняя письмо московскому архиепископу, преосвященному Августину. В доме горела лучина. Попадья устала за целый день страшно: ходила днем на реку Неглинку мыть белье, потом туда-сюда по дому, а вечером, не успевши отдохнуть, вспомнила, что надо кончить ткать холст.

*Высокопреосвященный Владыко, московский архиепископ!*  
Отец Иван положил перо.

— Поп, а поп, ты бы хотя свечу взял. При лучине-то разве что видать тебе?

— Свечу зажжем, когда кто в гости придет...

— Поп, а поп, ты бы хотя лапти обул, а то босиком холодно ведь тебе?

— Лапти обую, когда со двора в люди пойду...

Заставил, заставил злодей жестокий так унижить брата свой сан иерейства. Остановившись в Петровско-Разумовском дворце, богомерзко потребовал его к себе и приказал в полном облачении следовать за собою в Кремль. Там заставил представить архиерейское служение и делать другие подобные непристойности. И посему, церковь наша толико уничижена, толико поругана, толико обезславлена судным сим делом, что весьма даже неприлично сказать о ней сии словеса. А сами-то французы, лиходеи, в

соборе и шумели и прыгали и делали такие наглости, кои свойственны только сумасшедшим и произносили мерзкие и ругательные слова и занимались всякими другими азартными действиями. Боясь, как бы оные французы не спрокудили чего-нибудь важного, брат мой сделал им замечание, а те французы шумели и ругали священника свиньею...

— Хорошо, очень хорошо, — тихо сказала попадья, прослушав написанное мужем, — да только кто тебе теперь поверит? После француза этого все шишки на нас из-за брата твоего валяются... Другие и воровали и грабили и Москву поджигали и все ничего, а тут... Ведь не своей волей, заставили его. А кто поверит? Стыд головушке... Всю фамилию на век осрамил...

Попадья, предварительно всхлипнув, начала горестно истекать слезами в углу. Ей невступно вспомнилось, как этой весной, во время пасхального хождения, приходской причт, не довольствуясь четырнадцатью копейками, данными отцом Иваном на всех, требовал еще на десять копеек печеного хлеба и пирога, а когда тот не дал, то бранили его скверными словами, потом били смертно, а поп тоже в обиду не давался, дрался с ними и едва не откусил кому-то палец...

Самое главное отец Иван прибавил в конце письма:

И еще, Ваше благословение, разрешите фамилию переменить. После ухода злодеев житья не стало от соседей-озорников. Вчера прибегает в избу старик Колотушкин, известный драчун на кулачки в нашей местности, и говорит, что, говорит, старый хрыч? Брат-то твой с французами миловался или нет? Ну, теперь пойдешь и ты, только не в Соловки, а куда подальше... Говорил я ему для отвода богомерзких его глаз, что Пылаев в Москве из духовного звания на каждом шагу, что каждый третий поп в Москве Пылай, особенно в Замоскворечьи, что это и не мой брат-то может, а чей другой... Как, говорит, вот долбану поленом по волосатой башке... Разрешите же фамилию переменить, хоть на какую другую, а то замучают. За что, Ваше Преосвященство? Нешто я не знаю, что незванный гость хуже татарина? Ведь я тоже, не хуже его, Колотушкина этого, как пришли антихристы, два дня в погребу под церковью сидел и не думая о скудельной своей плоти, ходил собираться в ополчение на Три Горы для борьбы с врагом...

• \* •

В 1812 году, в Петровском дворце, недалеко от церкви Рождества Богородицы, где священствовал отец Иван с неудачной фамилией Пылай, прожил несколько дней сам Наполеон, спасаясь от московских пожаров. И именно

Оттеле, в думу погружен,  
Глядел на грозный пламень он...

Наполеон барствовал во дворце, а его офицеры выстроили себе землянки с дверями и обставили их зеркалами, мебелью и коврами, награбленными в богатых барских домах Москвы. Вся гвардия Наполеона, во время его пребывания в Москве, помещалась в этих землянках, которые окрестные крестьяне называли «сторожками».

Целый день французы-офицеры кружились по соседним деревушкам, Всехсвятскому, Рождествену и другим, рыская в поисках продуктов. Особенно любили они налетать на Бутырскую солдатскую слободу. В это время в слободе было всего восемьсот семь гектаров земли. Вся она принадлежала церкви Рождества Богородицы и сдавалась ее настоятелем и церковным старостой в аренду за тысячу четыреста тридцать пять рублей в год. В слободе стояло сто тридцать четыре дома, в которых жили кустари, трактирщики, извозчики... Из прудов села вытекала река Неглинная...

. . . . .

— Ну вот, внучка, — говорил мне дедушка кругленьким, сладким московским говорком, — когда французам этим есть стало нечего, начали они по соседним деревням разъезжать и народ пограблывать, хлеб и прочее отбирать.

— Дашонк, а Дашонк! — вдруг тонким голоском крикнул он, — ты канделябру-то помнишь, нет?

— Какую канделябру?

— Да такую, рогатую... Дед Колотушкин ее после француза подобрал... Не то сам где-то украсть спроворил... Учитель из школы после революции взял ее у меня, в казну сдал. Говорил — вещь ценная, лет ей триста...

У дедушки прояснились глаза.

— Ну а бабушка моя, Варвара, и прадедушка Колотушкин жили тогда около самой церкви Рождества Богородицы в Бутыркине. Вот как-то вечером дома никого не было, сам старик, све-

кор Варварин, убег Москву поджигать, а снохе велел скарб, какой есть, на телегу складывать и вечером по Тверской дороге из Москвы уезжать. Как раз недалеко от Петербургской сашейки они жили. Пословица даже старая была: «Город Тверь — в Москву дверь». Ну вот бабушка-то моя, а твоя прапрабабушка... Это я говорю — бабушка, а тогда она была, конечно, совсем и не бабушка, а молодая еще женщина, годов двадцати... Ну вот, хотела она вещи на подводу грузить, подвода своя, Колотушкин, свекор ее, ведь тоже извозчиком был, как и мы все... Хватилась, а дочки Агашки нет. Господи, что делать-то? Наверное с поповской Парашкой Пылаевой убежали на французские сторожки смотреть... А свекор Колотушкин сейчас придет и отъезжать надо. А второе-то, боится, не донес бы кто, что этот самый старик Колотушкин со своим сыном, ее мужем, а моим дедом, Яковом, Москву поджигать побежали. Как набегут идолы эти... ну тогда пропала ее голова. Не успела подумать... Батюшки, Господи, Пресвятая Богородица, — дедушка медленно, с достоинством перекрестился, — Никола Чудотворец, отец Сисиний, спаси нас и помилуй! И вправду катят...

\* \* \*

Незадолго до того, как конный отряд французов подкатил к дому Колотушкиных, Варвара нашла Агашку и Парашку. Они никуда и не думали убегать, а прятались под кроватью. Сидели там и смеялись над тем, как они ловко подговорили трехлетнего Мишку, Агашкиного братишку, написать в чайник...

Только было собралась Варвара оттрепать как следует одну и погнать домой другую, как услышала на улице отщелкивание лошадиных копыт по мокрым лужам...

— Жена-муж, женщина-мужчина, — забормотали французы, — хлеба давать, хлеба, хлеба, — офицер поднес руки ко рту и задвигал челюстями.

Варвара сначала, как и полагается, обомлела, а потом...

— Да жид вас задави, — вдруг храбро заголосила она, — да какого вам еще хлеба? Третий день сами на одной репе да капуста голодехоньки сидим, в дому и так из-за вас, разбойников, ничего не осталось. К батюшке ступайте, к попу Ивану, нечистый вас возьми, к отцу ее, — Варвара показала на Парашку и замахала рукой в сторону церкви и поповского домика, — у него там хоть коза осталась, коза, мору на вас нет...

Французы рысьими глазками поглядели в сторону поповско-

го дома: «козак, козак... ле козак сон ля ба! Les cosaques sont là ba! Там казаки!

И бросились наутек.

Только один остался.

Зеленоглазый франт Жорж Фурниаль долго всматривался в красивое Варварино лицо. Потом наклонился и медленно протянул к ее лицу раскрытую ладонь. На ладони лежало золотое колечко с тремя зелеными хризолитами.

— Тебе чего надо? — Варвара притворно замахнулась. — Как вот кону по гриве...

Он медленно отъехал.

Варвара, восхищенно потряхивая головой, пошла домой.

. . . . .

Взмыленный старик Колотушкин вечером долго ругательски ругал сноху.

— Вот дура-то попова! Да это колечко-то? Да разве оно не хапаное? Не краденое? В каком ни то господском доме стащил, а потом бабам раздаривать...

— Да что ты точишь меня, как иржа железо, дьявол старый, — отбрыкивалась Варвара, — то в ополчение бегал бить их, а то ругает, что ворованного от них не беру? Да где при таком уряде с французской саранчею справиться? Кабы не такие, как ты, давно бы и духу-то их у нас не стало. В мутной-то воде рыбу ловить да наживаться можно, а того не понимают, что больше худа делают, чем басурмане. Французы эти сами говорят, что и отцы их дедов такого доходного года отродясь не помнят. Сводят домок в орехову скорлупу, да и полно...

Варвара расходилась все больше и больше, гневно расшвыривая по избе узлы.

Агашка и Парашка мышино сидели под кроватью.

Колотушкин, спасаясь, выскочил запрягать лошадей. Я ясно представляю, как Варвара грозно плюнула ему вслед.

У нее перед глазами прыгало что-то зеленое: не то чьи-то глаза, не то колечко с зелеными камушками-хризолитами...

. . . . .

Это колечко теперь у меня. Оно было сделано в старину в России, потом полтора века прогостило во Франции, но, в конце концов, опять вернулось на родину. И теперь у меня. На моей правой руке. На безымянном пальце.

• • •

— Вот видишь, какая у нас бабушка Варвара была? Целую армию одной козой напугала... Ты вся-я-я в нее... Я тебе слово — а ты мне десять...

Несмотря на это, дедушка глядел на меня с большой нежностью.

— А из мужчин только один бойкий человек и был, мой прадедушка, старик Колотушкин. Кулачные бои здесь недалеко устраивались, так он там первым был. Самый главный кулачный боец по всей Москве. А кроме этого он был извозчиком...

— Ну, а потом что?

— Да, Господи, ничего же... Убежали французы, и все.

Когда французы покидали Москву, их оставшие отряды уничтожались крестьянами во главе с кулачным бойцом стариком Колотушкиным, а трупы убитых были брошены в землянки-сторожки и вместе с ними срыты и засыпаны. Только одну сторожку решили оставить: покрыли соломой и сохранили как пугало для птиц.

И стояла там и стояла там и стояла там Соломенная сторожка...

И кажется мне, что она и сейчас там стоит...

• • • • •

— Помню я очень хорошо, как мама моя рассказывала все это, ей тогда уже семь лет было, — продолжал дедушка, — это она Агашкой прозывалась. Все она очень хорошо помнила. И мать свою Варвару помнила и деда Колотушкина. После, как французы из Москвы ушли, Колотушкин с другими на Дорогомиловском кладбище братскую могилу копал для героев двенадцатого года. Да и самого его потом, как война-то кончилась, медалью царь Александр наградил. За спасение родины. Я все с этой медалью играл маленьким, а в революцию она пропала... Дашонк, а Дашонк, ты Колотушкинскую медаль-то помнишь? В шкатулке хранил я ее...

• • • • •

Сколько лет было дедушке? Дашонка говорила, что много за восемьдесят. А сам он своих лет не помнил и когда была перепись, в тридцать восьмом году, бормотал: «не то семьдесят шесть, не то восемьдесят шесть... Давно живу, очень давно, а сколько в точности — не припомню. В Первую мировую в Мазурских болотах



пять дней раненый в трясине лежал, ну память и отшибло. А живу давно. Уж чего только не видел. Надоело прос-ки жить-то... И жить надоело и помирать жалко. А все хоть бы скорей...

\* \* \*

Когда французы из Москвы убегали? Седьмого октября? Дождь осенний тогда лил, вся Москва была в лужах. И так было ясно, что больно было смотреть на небо из-за золотого солнца... Глядело солнце, несмотря на дождь...

Дед Колотушкин привез сноху Варвару и Агашку с поповской дочкой Парашкой на Красную площадь к тускловатому Кремлю. Остановил подводу около церкви Великомученицы Варвары на Солянке смотреть, как народ с умилением бросился в церкви. Пять недель праздновали освобождение Москвы от злодеев.

Звонили колокола...

Варвара — в длинной юбке, круто повязанная платком, а Агашка с Парашкой бегут за ней, — головы беленькие, похожие на осенние поздние растрепанные астры...

Ходят мужики с лотками, повешенными прямо на грудь, продают пироги с кашей и грибами, и Агашка пицтит:

— Мамушка, а мамушка, дай денежку, праздник сегодня, пирожка хочу!

\* \* \*

Нам до злости стало с Птицей жалко Владимира Дмитриевича, когда мы увидели, что он вдруг покраснел:

— Как же так вы отказываетесь, я не понимаю, — жалко бормотал он, — ведь это все-таки исторический документ! Хранится в семье более ста тридцати семи лет...

— Так исторический документ! Конечно, исторический! Ну писал священник письмо, ну получил формальный ответ, ну можем мы эти старинные консисторские бумаги спустить в архив как бытовой документ эпохи, — тускло говорило что-то тихое, серовато-сатиновое в канцелярии Исторического музея на Красной площади. — Какова еще его ценность-то? Фондами мы сейчас не богаты...

— Да какие там фонды, я даром отдаю, — ведь это может пригодиться для будущих писателей и историков...

— Да-а... Так вы говорите, Пылай была фамилия вашего прапрадеда? По отцовской линии? А почему же вы тогда Жаров?

— А потому что... да вот читайте дальше...

После прошения, поданного в консисторию через отца благочинного, отцу Иоанну Пылаю было разрешено сменить фамилию на сходную. Ну и стал он называться Жаровым. Что с пылу, что с жару — все одно.

\* \* \*

История Птицы похожа на гранат. Только хочу остановиться на полуслове или на полумысли и поставить точку, как вдруг вижу, что в углу темно-бордовой, как старая кожа, скорлупы — кусочек нетронутой белой пленки. Я эту кожицу-пленку снимаю, а под ней еще целая куча темно-малиновых сочных зерен. Эти зерна — события и истории из ее жизни. Как раз то, что должно было войти в «главы из законченного романа». О войне. Тысячи страниц законченного романа о войне лежат и преют в моем столе.

В войну мы с Птицей яростно переписывались. Она эвакуировалась с тетей Тamarочкой, бабушкой и Вивкой в Тюмень. Писала мне:

*Здравствуй, дорогая Владенька! Как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую хорошо. Владька, неужели это правда, что Николай Акимович без вести пропал, а Ларька Турецкий убежал на фронт? Мне об этом писала Эмка. Папа пока жив, он на Ленинградском. Целую тебя 1000000 ... раз.*

*Твоя подруга Птица.*

Нули после единицы занимали три четверти страницы.

Я садилась ей отвечать, хорошенько вымыв руки и причесавшись, — на большом листе больничной бумаги, которую Дашонка таскала из регистратуры. Она работала все там же, в закрытой поликлинике Московского комитета партии, недалеко от нашего дома, в Ипатьевском. Раньше она служила там санитаркой, но в начале войны прошла краткосрочные курсы Красного Креста и получила повышение. Стала медсестрой. Хоть и не «дипломированной», а только «рокковской», а все-таки медсестрой.

В панику 16 октября 1941 года, когда вся Москва бежала и я умоляла Дашонку тоже или бежать или уйти к партизанам, а то придут немцы и убьют нас, она как-то отвратительно прогундосила:

— Это пусть другие бегут... А нас не тронут...

Я помню, где она это сказала, как сказала и в каком она тогда была платье. Теперь, когда мы начинаем с ней ругаться и

взаимно огрызаться, к месту или не к месту, я всегда злорадно ей напоминаю о том, что она была непрочь жить под немцем.

— Ври, ври, — краснея от ужаса, отчаянно вопит она.

Всю войну помню, как вчерашний день. Как Дашонка делила хлеб на две половины: мой не трожь, а со своим как хошь — хошь в раз, хошь в два раз... Помню кисловатые дрожжи, которые жарили на железной тощей печке с трубой-коленом под углом в девяносто градусов, в крест-накрест заклеенное газетой окно. Какие эти дрожжи были вкусные! Помню, как по восемь часов стояли в очереди в баню, чтоб погреться там часок и получить без карточек кубик мыла, величиной с ноготь большого пальца. Помню, как душили друг друга от счастья после передачи по радио первого «важного сообщения», когда наши войска взяли Орел и Белгород.

На окне висело толстое старое одеяло, которое Дашонка «приобрела» в оставшейся незапертой квартире одной из эвакуированных соседок на нашей лестнице. Одеяло смерзлось и оттопыривалось, оголяя кусочек стекла.

— Затемняйтесь, сволочи, — вопили мальчишки-дежурные. — Мы вот вам сейчас немцам посигналим!

И швыряли в наши окна камни.

И правильно делали.

. . . . .

...как часто теперь у меня начинается все болеть. Немеют кончики рук и ног, вдруг ни с того, ни с сего падаю в обморок. Два раза садилась прямо на тротуар на улице...

Врачи не знают, что со мной, а я знаю: все поколение мое поражено. Война унесла десять лет жизни...

\* \* \*

Сразу же после Дня Победы, в теплый майский день, в нашу комнату ворвалась Дашонка.

— Ступай скорей на третий этаж, Жаровы приехали.

...Мы стояли друг против друга. Сначала молчали. Потом Птица вдруг тихо-тихо (это она нарочно) начала беззвучно, как старуха, хохотать.

— Владька! Ой, Владька! Это ты? Неужели ты?

Впорхнула очень похорошевшая тетя Тamarочка, поцеловала меня:

— Подумайте! Чтоб за четыре года произошла такая метаморфоза!

Приехавший из госпиталя Владимир Дмитриевич хотел сначала погладить меня, как в детстве, по головке, но потом спустил руку до плеча:

— Катька-Катюшка-Катишь-Катрин...

Ни он, ни тетя Тamarочка еще не знали, что я, казалось бы совсем недавно рассказывавшая о том, что мы летом поедем к Дашонкиной «кресне», а моей «двойрной баушке», — уже очень хорошо понимаю, что такое «метаморфоза» и что именно имел в виду Владимир Дмитриевич, когда сказал, что я из Катьки превратилась в Катрин...

. . . . .

Мы радостно хохотали, подсакивая на перине, не зная, что Дашонка положила под кровать на ящик дозревать помидоры...

Вспоминали, как мы сегодня гуляли вокруг Кремля и подсчитывали, сколько раз «мужчины» смотрели на Птицу и сколько раз на меня.

Всплакнули о том, что наш любимый учитель литературы Николай Акимыч Петренко убит на фронте и что все педагоги теперь новые, потому что нас перевели в другую школу, а в нашей старой теперь учатся мальчишки...

Птица рассказывала, как страшно было в эвакуации в Тюмени, как «какая-то» не хотела уплотняться и пустить их в одну из комнат своей квартиры и они с утра до ночи просидели на узлах во дворе. Потом пришел простой рабочий с комбината, Яков Михеич Лузанин, и сказал: «Пошли ко мне». Разделил свою комнату упаковочным материалом на две. И там они жили всю войну, как одна семья: за одной половиной Лузанины, муж с женой и пять человек детей, а за другой — Тamarочка с Птицей, бабушкой и Вивкой... Вивка сейчас в Ачинске, в спецшколе, будет военным-артиллеристом. Бабушка умерла. Да, а самое страшное и интересное было то, что в Тюмени орудовала шайка бандитов! Они убивали, грабили и резали. Когда их поймали, то оказалось, что в «списке» намечаемых ими жертв была и тетя Тamarочка, которая работала маркировщицей в столовой и возвращалась ночью домой одна иногда с продуктовыми карточками. Тamarочка приходила в час ночи и плакала от обиды, глядя, как бабушка, Вивка и Птица мирно спят... Они спят, а она одна идет через Новый рынок и каждый раз на нее кошмарно лают какие-то собаки. Наверно, хотят напасть... Потом ее стала каждый раз ночью встречать

семнадцатилетняя Ира, дочь Якова Михеича, хоть ей самой надо было вставать в шесть утра на «подсменку». Ира была влюблена в Тamarочку...

Так мы сидели, рассказывали что-то друг другу и вспоминали счастливейшую пору нашего детства.

— Птица, Птицуль, а помнишь, как мы с тобой, когда маленькие были, из лагеря летом Соломенную сторожку искать убежали?

И вдруг... Птица недоуменно вытаращила глаза.

— Ты что, угорела? В какую сторожку?

— ...Соломенную... Неужели не помнишь?

— Про то, как у меня вожатая конфеты-подушечки и черепаху отняла — помню. Мама мне ее в Архиповке поймала, а вожатая отняла для живого уголка. Потом помню, что нам купаться не велели после обеда и на доске качаться не давали... Из-за этого мы им назло и убежали тогда с тобой. А Соломенную сторожку какую-то ты, наверно, видела во сне...

— Птица, нахалка, врушка, ты что, сошла с ума?

— Да, а что?

И еще один раз произошел такой же странный разговор, но уже тогда, когда мы с Птицей стали совсем взрослыми.

\* \* \*

Я бормочу: «Соломенной сторожки проезд и тупик. Между Новым и Старым шоссе. Тимирязевского района. Трамваем первым, двадцать седьмым, двадцать девятым...»

Огромные новые дома, дома-великаны... Четыре восьмизэтажных уже готовы и несчетное число строится, строится...

— Мальчик, а мальчик! Ты здесь живешь? — я затыкаю уши от грохота грузовиков, подъемных кранов и строительных машин, которые шипят, лязгают, рокочут и тарахтят.

— Зде-е-сь. А что?

— Давно?

— Угу-к. А зачем вам?

Мальчику лет одиннадцать и он уже должен был что-нибудь знать от бабушки или слышать от учительницы Веры Алексеевны на собрании археологического кружка, посвященного теме «Историческое прошлое моего родного района».

— Да, верно, здесь раньше старые дачи были. Мы сначала там жили, а потом тоже в новый дом переехали. На седьмой этаж.

Мальчишка вдруг с бешеной радостью три раза повернулся вокруг своей оси.

— А зачем вам моя бабушка? — вдруг подозрительно засопел он. Потом немножко отбежал и, слегка приседая, с понятным злорадством проскандировал:

— Старые дачи были, старое барахло было... Все старое старье с тараканами даже бабка согласилась оставить на той старой квартире. Во-о-т!

— Да что ты завелся? Бью я тебя, что ли?

— Только троньте! Не имеете права! Не имеете полного права! Не было, не было!

Мальчишка отбежал на всякий случай.

— Все это художественный свист про вашу сторожку! — вопил он, — никогда по-настоящему ее здесь и не было.

Вечером я осмелилась рассказать Птице о своем происшествии.

— Мальчишка сказал, что ни он от бабки, ни его бабка от своей бабушки ничего про сторожку не слышала.

— Да про какую сторожку? — высоко подняла брови Птица. — Что с тобой, Владька? Неужели до тебя не доходит, что я всегда понимала это только символически? Конечно, никакой Соломенной сторожки никогда там и не было...

«Не было... не было...» — вспоминалось беззлобное мальчишество, пронесшееся вдали, когда я уходила из поселка «Новые дома».

Ах, Соломенной сторожки не было?

Ну тогда не было и нас с Птицей...

#### Глава IV

#### ВЕРНАЯ ГАЛЯ

Словечку «привет» дал права гражданства Игорь Маянц. Это было лет пятнадцать тому назад.

— Привет участникам банкета! — вкрадчиво говорил он, входя в большую комнату Шкуняевых и обращаясь к компании, весело пьянствующей за огромным столом.

И компания хором отвечала:

— Привет от папы!

В полупьяном виде Игорь Маянц давал сто процентов форы не только словарю племени Мумбо-Юмбо, но и лексическому запасу людоедки Элочки.

— Слушай, Маянц, так мы сегодня закатываемся к тебе...

— То-есть!

— С тебя пельмени и картошка с капустой, а водка наша...

— Или!

Интеллектуальной словесной реакцией на все другие вопросы, утверждения, восклицания и повествования были другие три слова: «дудке-с», «шутке-с» и «хохме-с».

В совсем пьяном виде Игорь пел романс «Ах, зачем». И аккомпанировал себе очень хорошо на рояле. Когда его спрашивали: «А это тоже твоя» — он, нарочно имитируя опереточную диву, полужакрывал глаза.

Пельмени и картошку с капустой Игорь употреблял как закуску к водке только потому, что любил, чтоб у него в доме было все точно так же, как и у других.

На самом же деле больше всего предпочитал свиные отбивные.

— Я поклонник и пропагандист пищи «натурель». Что может быть сильнее этого? — спокойно говорил он.

Влюбленную в него Валю Клебанову Игорь называл «девочка моя» или «мать» (в зависимости от того, был ли он только «в дугу» или уже «в лежку»).

Кроме водки любил еще грузинское сухое «Цинандали», номер один, или «Мекузани», номер три.

В ресторане «Арагви» занимал со своими приятелями отдельный кабинет, а сам ресторан называл «кабак Арагва», чтобы показать, что он ни в коем случае не принадлежал к безродным космополитам.

И всегда вполголоса напевал:

Ах, зачем, ах, зачем, ах, зачем  
Повстречал я тебя той весною,  
Ах, зачем, ах, зачем, ах, зачем  
Мы не встретились больше с тобою...

С его легкой руки романсик «Ах, зачем» облетел всю Москву и соперничал с песенками Булата Окуджавы.

Его пиццала, отбренькивая на рояле Жаровых, даже наша Сюся Сюрмюль.

Шуточки Игоря, песенки, сочиненные им, его манера выражаться, его словечки — мгновенно распространялись по всей Москве, становились «летучими», и обаятельный старый писатель, совсем недавно выступая по телевизору, делал молодежи выгово-

ры за то, что она совершенно некстати употребляет глупейшее и ничего не значащее выражение «Привет от папы...»

А в конце войны этого невинного приветствия боялись, как огня, всякие продавцы и завмаги, судьба которых могла в одну секунду очутиться в руках одного из главных хозяев ГУЛАГа — отца Игоря Маянца.

Когда за столом салона Шкуняевых становилось скучно из-за полнейшего отсутствия водки и закуски, Игорь с улыбкой, которую можно было поймать только между носом и губами, брал в руки старенький папин портфель и, обращаясь к компании, задумчиво говорил: «Шантажнем! По тихому!»

А не более, чем через полчаса, уже на цыпочках входил в один из самых богатых закрытых распредов, скромно вызывал завмага как будто по конфиденциальному делу и тихо приветствовал его словами:

— Привет от папы!

Сначала у бедной жертвы отнимались кончики пальцев, потом руки, потом ноги... Жертва думала, что настал ее час...

Из магазина Игорь выходил с пакетами, полными водки, вина, закусок и белого хлеба...

Игорь Маянец был одним из самых обаятельных людей, которых мне когда-нибудь приходилось встречать. Рудольф Валентино не годился ему в подметки.

Не знаю и по сей день: действительно ли он любил женщин, хотел ли он их любить, «умел» любить или завлекал нарочно.

— Какой он обаятельный... сплошной шарм, — только и приходилось слышать в «салоне» Шкуняевых на улице Огарева.

Так говорили очаровательные девушки из московского Иняза.

Им вторили не менее прелестные «консерваторки».

Кто-то там, в Консерватории, из-за него топились, кто-то разводился с мужем, кто-то вешался...

Мара Магашидзе перерезала себе вены на руках, и сделано это было так, что ее еле спасли.

На литературном «рауте» у Шкуняевых я тоже, выпив полстаканчика легкого яблочного сидра, подбегала, набравшись храбрости, к Игорю и игриво (на «ля» верхней октавы) вопрошала:

— Маянец, ну а меня вы любите?

— Вот уж, Владенька, чего нет, того нет, — Игорь щурил свои прекрасные мерцающие глаза, — что вы, цыпленок? Я же



джентльмен. Понимаете? Джен-тль-мен! Ходят сплетни, что вы еще... А за девушками я ни-ког-да преступно не ухаживаю.

Больше пока ничего не могу сказать об Игоре Маянце.

Итак, — Привет от папы!

Привет.

\* \* \*

Все обращения ко мне и Птице начинались Дашонкой так:  
— Вот вы, девушки, советские девушки, воспитывает, учит вас государство, образование бесплатно дает вам, хабалкам, а...

— Ну что «а», что «а»-то?

— А то, что не знаете, кого любить-то нужно, вот что...

Это была правда. Ни я, ни Птица этого не знали.

У Птицы была любовь. «Предмет» я знала, но там после очень бурного и многообещающего начала вдруг наступило странное затишье. Птица мне почти ничего не рассказывала, таилась, и по этим признакам я поняла, что дело не клеится. Иногда, по вечерам, когда она сидела одна в полутемной комнате, ожидая отца и мать с работы, а я врывалась к ней, она говорила:

— Владь, последний раз... Позвони, а? Послушай только, кто подойдет... Интересно, дома он или нет...

Номер его телефона я знала наизусть и набирала.

— Птиц, он дома. Сам подошел.

— А-а... Ну ладно...

Он был дома. А звонить — не звонил. Тогда Птица опять погружалась в мрачное молчание.

Иногда, очень редко, она прибегала с блестящими глазами и бойко кричала:

— Владьк, дай мне твое синенькое надеть на ответственное!

Это значило: дай надеть твое синенькое пальто на ответственное свидание. Что-то наклевывалось.

Птица переодевалась и дрожала, как бы ей случайно не встретить на улице тетю Тамарочку, которая ненавидела эту «отвратную, мещанскую привычку занимать и употреблять» чужие вещи.

Синенькое пальтишко не помогло, и дело, в конце концов, сломалось окончательно.

С этого момента Птица ушла в себя.

— Никаш, ну что ты в нем нашла? — жалобно стонала я, — какой-то он...

— Отсохни...

— Помнишь, Птичк, из третьего подъезда к Чернявским военно-морской офицер в прошлом году приезжал на каникулы из Тарту? Вот иду это я вчера домой, смотрю, а он мне навстречу с лестницы спускается. Опять приехал! Ну мы постояли с ним минут десять и, знаешь, он меня и спрашивает: «А где та девушка, с которой я в прошлом году вас видел? Ваша подруга?» Это ведь он про тебя... Велел передавать привет.

— Не передавать, а передать привет, — машинально говорила Птица. — Почему обязательно про меня? Может, это он про твою Лилю?

— Да нет, про тебя, про тебя, точно тебе говорю. Он даже так сказал: «Ну, помните, еще такая хорошенькая, в желтой вязаной шапочке?» — во всю мочь надрывалась я, привирая половину, — и попросил поз-на-ко-мить! Только как будто случайно. Я сказала, что, может быть, позову тебя гулять в воскресенье, а чтобы он, будто случайно, — навстречу. Ему-то дала честное слово, что все останется между нами, а сама про себя и думаю: как тебя увижу, так сразу все и скажу...

Птица слабо, на мгновение, улыбалась, а потом опять погружалась в мрачное молчание.

Да, Дашонка была почти права. Мы не знали, кого надо любить.

Когда Птица в плохом настроении приходила к нам в полуобщезитие, Дашонка, приблизительно зная, в чем дело, сразу уподоблялась самовару. Начинала тихо-тихо.

Так:

— И чего переживать, да мало ли их...

Потом громче:

— Посмотришь, — лица на девушке нет. А из-за чего? Не позвонил вчера, что ли? А чего ему звонить-то? С бутылочкой своей все никак расстаться не может. Как вино пить, так это они пожалуйста, а как... Да плюй ты, Ника, на него с десятого этажа, тогда сразу сам за тобой побежит. Чего переживать-то? Не стоит он тебя. Вот поверь мне, я больше тебя пожила — пожалеет потом, да уж поздно будет...

На третьей стадии, когда самовару наставала пора закипать, она заключала:

— Много вы в мужчинах разбираетесь! Что значит любовь? Что это еще за любовь за такая? Ты смотри, чтоб был хороший человек, чтоб скромный, чтоб специальность имел, да чтоб тебя жалел. Вот что надо, а то выдумали незнамо что — любовь.

Дашонка присаживалась к окну и, нарочно-задумчиво глядя поверх гладеньких листочков фикуса (провинциальная актриса на роли «вамп», получившая известие об измене любимого человека, или сама нечаянно кому-то изменившая), вдруг говорила:

— Да, вот был у ней Боря Вольперт в позапрошлом году... — Дашонка делала паузу, мягко вздыхая. — Уж так любил, так любил ее... Здесь со мной целыми вечерами после работы сумерничал, все сидел, все ждал ее из института.

Она скорбно трясла шестимесячной.

— Говорила — выходи за него! Правда, еврей он был... Ну и что ж? Теперь никто на это не смотрит. И среди них хорошие бывают... Самые лучшие мужья — это евреи, каждый тебе скажет. Уж этого караулить с получкой не надо, сам всю до копейки отдаст... Детей ночью качать будет. Эх-х-х... Не захотела, дурочка. Не ндравится. Потому росту маленького. Заладили глупости...

— Ну, а теперь что же он? — Птица давно знала наизусть, чем дело окончилось и чем сердце успокоилось.

Дашонка радостно вскидывалась.

— Что же он, дурак, что ли? Век ,что ли, ждать, пока полюбит? Свет на ней клином сошелся или как? Конечно, женился на хорошей девушке. Встретила я тут его как-то, в очереди за готовыми котлетами вместе стояли ,так целый час все об ней, о Владьке, об дуре эдакой, расспрашивал. До сих пор ее помнит...

А во времена ухаживания за мной Борьки Вольперта Дашонка голосила, если я возвращалась слишком поздно из кино:

— Опять в паратном целовались? Ты вот только попробуй мне жиденка в подоле принеси-и-и...

— Да вот все помнит ее, нестоящую, — вздыхала и вздыхала тетка, — говорит, уж сколько времени прошло, а Владю вашу, Дарья Федоровна, никак не могу забыть. Вот как могут некоторые мужчины-то любить... Таких-то вот ищите, да замуж за них ступайте, а то выдумали какую-то любовь...

В комнате начинало темнеть.

— Катерина Ивановна, регистраторша наша, и говорит, да что, говорит, вы, Даша, племянницу свою все «замуж», да «замуж»... Женится из-за площади, да потом и сядет на вашу же голову... Сегодня женился, а завтра разженился. Отсудил себе треть комнаты, это ему по всем законам следует, да и был таков... Нет уж, по нынешним-то временам гора-а-а-здо лучше стародевствовать...

Дашонка окончательно погружалась в собственные мысли.

— Лиза Фролушкина, сестра из Склифасовского, рассказывала тут на днях, — тихо продолжала бормотать она, — к нам в приемный покой, говорит, чуть не по двадцать самоубийц в день привозят... И все молодежь. Кто резался, кто давился... Одна дура сорок таблеток люминалу приняла. И все-е-е на почве любви...

. . . . .

«На почве любви» и во всякой любви существуют свои армянские загадки.

Птица и не пыталась делать вида, что она забыла «его». Правда, мы никогда с ней не говорили на эту тему, но когда однажды, много времени спустя, я, решив, что с ее стороны все давно кончено, как-то решилась спросить:

— Птиц, ты его вспоминаешь?

Она серьезно и грустно ответила:

— Я его не вспоминаю, а помню всегда.

. \* .

Все полотеры и слесаря нашего домоуправления, все мастеровые, приходящие в квартиры к жильцам чинить прохудившиеся раковины и натирать под Первое мая и под Седьмое ноября полы, влюблялись в Птицу с первого взгляда.

Не успел натереть — через три дня опять звонок:

— Ника Владимировна? Как насчет полов? Не надо ли воску подбавить?

— Что вы, Жуков? Да вы же только в эту среду были...

— Да мало ли? Может починочка какая...

. . . . .

Это неправда, что каждый порядочный человек заслуживает врагов. Тогда все в мире были бы порядочными. А у Птицы врагов не было. Были только завистники. Но эти завистники завидовали тому, что у нее нет врагов и что ее все любят! И сами открыто признавались ей в том, что тоже обожают ее.

Нику Жарову любили все.

Любили за характер. Это первое. За то, что ее совсем не обременяли отношения с людьми, и за то, что она не опутывала себя миллионами обязанностей, правил и мелочами глупых приличий и предрассудков.

Любили за лицо. Это второе.

\* \* \*

Птица была из тех, у кого на лице не было ни одной красивой черты, но, несмотря на это, она была хороша, как весна. Похожа на китайский фарфор: посмотришь — ничего особенного, а начнешь вглядываться — глаз не оторвешь. На нее вечно все обращивались на улице.

— Да ничего красивого в ней нет, — сердилась тетя Тамарочка, когда кто-нибудь начинал хвалить ее дочь, — ничего абсолютно. Абс. Просто она чертовски мила.

Когда Птица была маленькой, ее поцеловал во сне ангел. Тот самый ангел, про которого говорила каждый раз Дашонка, провожая меня в детстве к Нике Жаровой на день рождения.

— Не забудь сказать: «С днем айнгела тебя, Никочка, с днем айнгела!»

От этого поцелуя у Птицы осталась ямочка на правой щеке.

Я от зависти считала Птицу шаблонно-хорошенькой и в крайнем случае соглашалась, что она напоминает тихоокупую лань, по выражению Блока.

Птицыны успехи «у мужчин» я была непрочь приписать и себе. Ведь художница Сюся и даже сама тетя Тамарочка постоянно твердили, что мы с ней «одного типа»...

Однажды мы затасили к нам Левку Галлендера, художника из Суриковского, и пристали к нему: очень ли мы похожи с Птицей, что именно в нас общего и кто из нас лучше? Он выдумал вот что: чтоб вы обе не обижались, я подумаю, а потом дам вам ответ в закрытых записках. Только чур без претензий.

Записки были Левкой принесены на следующий день, когда мы с Птицей обе были в институте. В Птицыной стояло: «Твое лицо — Шекспир». В моей «Твое лицо — Шекспир в эпоху реставрации».

Только один Владимир Дмитриевич, кроме нас, понял, что это значит.

После этого, каждый раз, когда я с Левкой должна была нос к носу столкнуться на тротуаре, он заблаговременно перебежал на другую сторону.

. . . . .

Где-то я читала, что садоводы от влажного воздуха полностью теряют чувство обоняния. Они не слышат аромата цветов, так же, как глухой Бетховен не слышал музыки, сочиненной им, так же, как слепой Рембрандт в старости не видел картин, кото-

рые сам написал. Так и Птица. Ее прелестная внешность доставляла ей, по ее словам, только одни неприятности.

Когда я начинала говорить о том, что с ней просто невозможно ходить по улицам, что мужской пол, как только им не стыдно, все глаза об нее проглядел, она начинала злиться и повышать голос:

— Опять? А может быть, это они на тебя?

Никогда она не хвалилась своей привлекательностью: наверно, считала ее бесполезной.

В ней не было ни капли тщеславия, и это злило меня до крайности.

Стоим в очереди в ГУМе за телячьими язычками. Вдруг кассирша дает Птице вместо одного чека — два.

— На этот второй чек, девушка, возьмите и мне килограммчик, отлучиться от кассы никак не могу...

— Боже мой, — Птица смутилась. — Да вы же меня совсем не знаете, а вдруг я с вашим чеком...

— Это вы-то? Да что же я по лицу не вижу, кому я доверяю?

На аэродроме, куда Птица приехала по делу, к ней неожиданно подошел незнакомый симпатичный молодой человек (по виду — работник искусств) и отдал ей огромный букет роз.

Птица от ужаса отскочила.

— Что вы... Что вы... Какое нахальство!

— Извините, девушка, вы, конечно, не можете меня помнить. Я видел вас в прошлом году на концерте Байрона Джаниса в Консерватории. Вы были одни, в клетчатом костюмчике... — Молодой человек взволнованно сглотнул. — Я ждал вас в раздевалке, потом хотел подойти на троллейбусной остановке и заговорить, но не рискнул... Такие, как вы, на улице не знакомятся...

Поняв, что это не покушение, Птица, глядя в пол, беспрестанно щелкала замком китайской вышитой сумочки...

— Потом, месяц спустя, вы вышли на перрон в Охотном в тот момент, когда захлопнулась дверь вагона и мой поезд двинулся. Я так долго искал вас...

Конечно же, надо было что-то сказать, но Птица онемела.

— Сейчас мы встречаем тут вьетнамскую делегацию, — продолжал молодой человек, — но я не отдам им эти розы. Их заслуживаете только вы...

— Да как вам не стыдно, молодой человек?

— Если не хотите — оставьте цветы на лавке...

\* \* \*

Если все время проводить параллель между мною и Птицей, то надо делать это последовательно.

Птице незнакомые молодые люди дарили цветы. Ну и что же? И мне тоже дарили. Спички!

Так как у всех продавцов штучным товаром в палатках почти всегда «нет» сдачи, мелочи то-есть, они отдают ее ненужными вам почтовыми марками или спичками.

Какого-то интеллигентного вида не старый еще дядя поглядел на кучу спичечных коробков (сдача с новых двадцати копеек за сигареты), да говорит мне:

— Девушка, хотите я подарю вам эти спички?

И весело улыбнулся.

. . . . .

На улице Горького за Птицей чуть не километр бежал, сшибая прохожих, пожилой человек в тюбетейке. Догнав ее, начал, запыхавшись, трясушимися руками доставать документы и удостоверения личности.

— Пожалуйста, не подумайте, что пристаю на улице. Я из Академии Художеств Казахской ССР, пишу картину «Дружба народов нашей страны». На соискание Ленинской премии. Там группа молодежи. Все типажи нашел, и украинку, и грузина и, понимаешь, таджичку с якутом, а вот самого главного — русского лица, — нет... Умоляю — не отказывайте, насилу нашел то, что мне надо... Специально ведь для этого в Москву приехал... Прославитесь, дорогая, прошу, умоляю вас... Помещу на первом плане.

Птица испуганно отшатнулась.

— Если вы откажетесь, я сейчас сяду в эту лужу, — отчаянно завопил казах...

. . . . .

Левка Галлендер не мог оторвать от Птицы глаз.

— Не пикантное у нее лицо, не хорошенькое, и даже не так уж и красивое, — бормотал он, царапая в лохматой башке, — это все из лексикона пошляков и дураков. — Левка подпирал свою левитановскую худую щеку кулаком и начинал смотреть в одну точку чернящими глазами, полными многовековой скорби своего народа:

— А русское у нее лицо! Ясно тебе? Типично русское. Ее прямо на картину Сурикова или Рачинского.

Я смотрела на Птицу и вспоминала Наташу Ростову, Фленушку, Домну Платоновну, воительницу Лескова...

. . . . .

Да, Нику Жарову можно было прямо на картину Сурикова или в книгу Лескова, а меня...

Дело было так.

В детстве я обожала одна бегать в Третьяковку. Меня знали там уже все тетеньки — хранительницы залов.

Вот стою я как-то, присоединившись к группе колхозников, которым экскурсовод «объяснял» картину Серова «Девочка с персиками», а какая-то молочница вдруг выпаливает басом:

— Только что с персикими... А так-то, что в ней особенного, в девочке-то в энтой? Только что молоденькия, да свеженькия...

Потом показала на меня толстым пальцем и твердо сказала:

— Вот как бы эту девочку туда, вот это-то бы еще так... А то посадил лахудру каку-то...

. \* .

Вступление о внешности моей подруги Птицы было сделано специально для того, чтобы показать, что вся ее дальнейшая жизнь и судьба была тесно связана именно с ее лицом.

События по хронологии разворачивались так.

Однажды я зачем-то ворвалась к Жаровым и услышала в промежутке от стука в дверь до того, как войти, Тamarочкин на редкость серьезный и очень повышенный голос:

— Ника, чтоб я об этом больше не слышала. У папы будет сердечный припадок, если только он узнает...

При моем появлении Птица вскочила и выпорхнула из комнаты, а тетя Тamarочка мрачно отвернулась, давая понять, что мое присутствие сейчас им нужно так же, как рыбе зонтик...

. . .

После того, как птица доверила мне главный на данном этапе секрет своей жизни, я малодушно пришла в мещанский ужас. Сколько ни напрягаю я сейчас память, сколько ни подпрыгиваю, чтобы вспомнить, какими словами и с какой интонацией рассказывала мне она обо всем, что случилось, я ничего не могу вспомнить, кроме сути.

СУТЬ:

Вот уже несколько недель подряд, после того, как Птица выходила из своего Института международных отношений и



медленно шла домой переулками Арбата, за ней, тихо подсакивая по асфальту, ехал большой черный зим. Каждый раз один и тот же зим с одним и тем же шифром и номером.

Этот зим был с особой привилегией: он стоял у станции метро Парк культуры, — там, где всем остальным машинам стоянка воспрещалась.

Как только Птица появлялась на улице, этот автомобиль вздрагивал и медленно начинал ползти вслед за ней. На третий день стало совершенно ясно, что высматривают именно ее. От страха она влетела прятаться в метро Дворца советов. Наконец, однажды утром, выходя из парадного нашего дома в Институт, она услышала за собой торопливые шаги.

— Девушка, извините! Не бойтесь, пожалуйста, я вас не обижу...

Это был молодой и очень красивый человек. Недалеко стояла та самая машина, которая катила все эти дни за Птицей от Института до дому. В ней кто-то сидел.

Предложение Нике Владимировне Жаровой было сделано коротко, вежливо и спокойно. Фамилию называть ни к чему, но ею заинтересовался очень, очень большой человек из правительства. Ничего «такого» вы не подумайте, речь идет только о том, чтобы работать в одном очень хорошем месте. Дело сложное, для этого надо встретиться, поговорить...

Потом Птица честно призналась мне, что она не знала, как ей быть: радоваться или переживать. Не подумав как следует, пришла домой и, не посоветовавшись предварительно со мной, выболтала все матери.

Птицын отказ «там» приняли вежливо и спокойно и больше не приставали, но тетя Тamarочка начинала хныкать всякий раз, когда Сюся или я появлялись в доме Жаровых.

— Бог его знает, что это за личность такая ею заинтересовалась. И где он только мог ее увидеть? Не будет ли каких последствий... Я боюсь репрессий...

— Репрессий, шмепрессий, — шипела Сюся, обращаясь к Птице, — поменьше надо кокетерией заниматься да глазками постреливать направо и налево, одним в Рязань, другим в Казань, тогда и сама не погибнешь и нас не подведешь...

Советы художницы Сюси были всегда для нас всех (в том числе и для тети Тamarочки) дороже мирры и вина.

— Что это значит, что «ты здесь не при чем»? — высоко поднимала брови Сюся. — Если видишь, что к тебе начинает подъез-

жать какой-то мужчина, прежде всего — взвесь все «за» и «против». Это первое. Затем, придя окончательно к заключению, что он тебе не подходит и ты не хочешь с ним иметь ничего общего, немедленно изобрази из себя легкомысленную недоделанную кретинку и — так... — Сюся вытягивала ногу во всю длину и лихо щелкала себя повыше колена, — отт-чча-лли-вай, дружок! Тогда никаких тебе ни последствий, ни репрессий...

По вечерам, встречаясь в квартире у Жаровых, мы, почти сшибаясь лбами под высокой настольной лампой, сидели, как испуганные мыши, и думали, кто бы это мог быть? Ну кто же? Кто?

И узнали. Писать о том, как — надо садиться за новый роман.

Через всезнающую Сюсю узнали.

— Ну, смотри, Владилена, если ты только кому-нибудь — тетке своей или кому из подруг... Ты понимаешь, чем это всем нам грозит?

— Да что вы, Сюзанна Семеновна? Да это нужно последние винтики потерять...

«Он» оказался сам... Берия.

А уже через два года о его гареме говорили в открытую, и Птицу даже куда-то секретно хотели вызывать как свидетельницу.

Но это косвенно было как-то связано уже с другим делом.

. . . . .

Потом, в той же паутинообразной жизни произошел второй эпизод, еще раз столкнувший Птицу с теми, которые «они».

Как сквозь театральный занавес-сетку, через который показывают иногда сны действующих лиц, я вижу старый подвальчик-бар на Пушечной, напротив Дома учителя. Теперь там вместо бара — столовая.

В подвальчике сидим мы с Птицей и двое наших знакомых. Они пьют пиво, а мы с Птицей — лимонад. Заедается же вся эта красота нашими любимыми раками. В баре на редкость полутемно и полупусто.

. . . . .

Вдруг к нам подошел очень интересный, высокий, средних лет человек и попросил разрешения подсесть к нашему столику. Мы разрешили. Я тотчас же пулей выбежала в прихожую, чтобы причесаться и не ударить перед «интересным» лицом в грязь... Когда я вернулась, то он, не сводя глаз с Птицы, говорил

что-то о том, что если бы все девушки в СССР были бы такими же, как она, то нам и Запада бояться было бы нечего, что если бы вся наша молодежь могла одеваться с таким вкусом, как Птица, так себя держать, как она, так же замечательно, остроумно беседовать и иметь такое же лицо, то...

Птица сидела и краснела.

В заключение, когда мы уже собирались уходить, он попросил ее телефон и адрес и сказал, что если она хочет, то после окончания института он поможет ей устроиться на работу... что есть теперь много мест, где нужны люди ее специальности и что в настоящий момент таких, как она, ищут.

Дал и свой телефон:

— Только будете сначала разговаривать не со мной, а с моим секретарем, Сергеевым, а он мне передаст.

Когда мы вышли на улицу, наши молодые люди сказали нам, что мужчина им сообщил, что он — секретарь одного из райкомов Москвы, но по кабакам ходит очень часто инкогнито для того, чтобы приглядываться к людям и изучать «быт и нравы», а также настроения советских людей.

— Ну вот, Птиц, еще один женишок у тебя, — мучила я ее, — этот уж настоящий бобер... А кто тебе устроил? Я. Если бы я не пристала к Женьке, что хочу сегодня есть раков, то ты бы этого дядьку и не встретила. Главное, — трудоустроиться он ей обещал... Жди. Жди, жди... Всегда такие дела с работы начинаются...

С тех пор я изводила Птицу ее новым «бобром». Затаскивала в автоматы и приставала, чтоб она звонила ему. Если сама боится, то от ее имени позвоню я. У нас даже голоса похожи. Да и все равно, ведь говорить сначала с секретарем...

Нет, первой звонить Птица гордо отказывалась, несмотря на то, что дядя был «очччень сим-па...»

Как-то, года три спустя после всей этой истории, я вбежала в комнату к Жаровым, держа в руках «Правду». Там, во всю первую страницу был напечатан портрет гражданина в сером костюме из бара на Пушечной.

— Никашка, — никак не могла отдышаться я, — ты только посмотри, твой жених! Представляешь? Кем оказался-то?

Под портретом стояла фамилия виднейшего в нашей стране партийца с самой «верхушки».

. . . . .

А потом уже, когда он слетел с верхушки к самой первой ступеньке, Птица еще раз встретилась с ним в ЦК, где он занимал скромную должность какого-то рядового партийного чиновника. Она попала туда по своей работе, но, несмотря на «годы разлуки», бобер ее сразу узнал, угощал московской минеральной с бутербродами и жаловался на свою судьбу....

. . . . .

Так вечно не давали Птице житья из-за ее лица всякие мужчины и женщины. Старые и малые. Она имела «несчастье» нравиться всем, кто бы только с ней не столкнулся.

Когда она как-то зашла в 615 школу, где работала учительницей ботаники наша приятельница Клавка Березкина, на нее установились, не отрываясь, человек пять шестиклассников-мальчишек. Смотрели, смотрели, потом куда-то исчезли... Птица уже хотела уходить, не дождавшись Клавки, как вдруг услышала из-за загородки раздевалки тихие и довольно стройные звуки. Мальчишки спрятались под кучу наваленных пальто и хором мурлыкали:

Раз-два-три  
На меня ты посмотри,  
Раз-два-три  
Ты прекраснее зари...

И потом все приставали к Клавке:

— Клавдь Алексанн, а это к вам ваша подруга приходила?  
А она почему еще не приходит?

Я не давала Птице покою.

— Дурочка ты, говорю тебе, что дура... Да я бы на твоём месте...

— На моем? А на своем-то ты месте что же?

И после каждого покушения на нее полотеров, тех, которые «они», детей и казахов-художников хныкала:

— Честное слово, надоело это мне все до лампочки... Хоть бы постареть скорей...

. . .

Ну и что ж из того, что театровед Александр Сергеевич Дульбэ сказал, что Птица — живая Катя из «Двух капитанов» Каверина, а рыжий артист Арон, снимавшийся в роли какого-то албан-

ского бродяги в картине «Скандёрбег», целый вечер на дне рождения своей жены Люси при всех набрасывался на Птицу, вопил: «Вы похожи на Мадо из «Бури» Эренбурга!» — и пытался укунить ее шею?

Зато кинорежиссер Ефим Геллер заявил, что если он будет снимать картину «Двадцать шесть и одна» по Горькому, то обязательно возьмет на роль мещанской девицы Тани — меня!

— Арестантики! Угостите пирожочком!

Как убедительно у меня это получалось!

Птица правильно говорила:

— А ты, на своем-то месте, что же?

Потому что и за мной тоже ухаживали.

Таким образом:

— Девушк, а девушк, — подбивался ко мне в метро какой-то распянным-пьяный, по виду из командировочных. — В Москву вот приехал, конечным делом...

Я хотела выскочить на первой остановке, но у пьяного гражданина был не очень нахальный вид. Мой наметанный взгляд сразу определил, что «приставать», уже не говоря о том, чтобы «лезть» — он не будет.

— Осмотрел, знаешь, все достопримечательности столицы, а отвлечения мысли все равно нет, — пьяненький несчастно потопал допотопными бурками. — Нет и нет отвлечения мысли, разъязви ее направо и налево...

— Сибиряк! — тихо хрюкнул кто-то на скамейке справа, — язви да язви! — без этой присказочки ни один разговор у них не обходится...

— Девушк, а девушк! Молодая, интересная! — сибиряк в бурках решил положить свою огромную лапу поверх портфеля, который я держала на коленях. — Серкой, хочешь, угощу? Пользительно пожевать... А то в ресторан? А? Айда в ресторан! Денег с собой! — он восторженно махнул рукой, — две тыщи! Правда-истина... Ты столько видела когда, нет?

Пассажиры снисходительно улыбались.

— Ну, не желаете — извиняемся. Дело хозяйское. Простите, что беспокоил. А только денег с собой — гляди вот, две тыщи...

Так что и я, если бы только захотела, могла бы пользоваться бо-о-льшим успехом!

\* \* \*

История о Верной Гале складывается у меня из трех событий:

### Событие первое

Яшка, немного полоумный брат Эмки Кукуй, зная, как я ревную Птицу к его сестре, однажды доложил мне, что летом, когда я ездила с Дашонкой в отпуск к нашим деревенским родственникам под Вербилки, Ника и Эмка были, как никогда при мне, неразлучны. Они не только трезвонили друг другу целый день, но также были «на проводе» и ночью, обсуждали что-то, договаривались о чем-то и трепались по телефону часами.

Эмка подняла свои голубенькие глазки к небу, мелко-мелко закрестилась и дала честное комсомольское, что Яшка врет. С его стороны это была мелкая месть. Вот за что:

Когда в отсутствие матери к Яшке приходила Инка Шамес, Эмка ни за что не хотела выходить из комнаты, соглашаясь только спрятаться за шкаф. Но как только на диване, где сидели влюбленные, наступала замирающая тишина, Эмка сначала прокашливалась (полундра!), а потом с издевательской перестановкой ударений каркала:

— Шамес-Арамес-Карабас-Барабас.

### Событие второе

Его звали Фауст.

Наружность: прекрасные серые глаза, добрые мягкие волосы. Страшно высок и худ так, что западали щеки. Он вечно куда-то торопился, как бы путаясь в своих собственных ногах. Здороваясь, никогда не произносил ни слова, а только слегка кивал головой.

На углу улицы Герцена и Моховой, около клуба старого здания Московского университета, и теперь очень часто я вижу объявления, вроде:

*«Древнеримские драматурги Новий и Помпоний».*

*Читает доктор филологических наук, доцент... (имярек).*

У меня на работе, в Ленинской библиотеке, Птица часто сидела по вечерам, читая и перечитывая «Слепых» Метерлинка, «Одиноких» Гауптмана, «Викторию» Гамсуна, «Ингеборг» Келлермана и других авторов, которых сейчас в библиотечные требования вписывают только студенты, которым надо сдать зачет по западноевропейской литературе... Она сидела и глотала эти солидные тома, хотя... (по секрету) всегда ужасно боялась «толстых книг».

...О, Ингеборг! Ингеборг!

... О боги! Благие боги! В самый прекрасный ваш день создали вы Ингеборг...

Много отрывков из этих произведений перекочевали в Птицыну тетрадку изречений...

С места выдачи я прекрасно видела, что на нее часто, подолгу не отрываясь, смотрят прекрасные серые глаза знакомого худого лица со впалыми щеками и добрыми мягкими волосами.

Его торопливые шаги каждый раз следовали за ней, когда она спускалась вниз, в буфет, съесть стаканчик простокваши.

В читальном зале он всегда искал места за одним столом с ней. Кроме массы книг об античной литературе перед ним всегда лежал «Фауст» в переводе Пастернака. В красном переплете... Я чуть однажды в обморок не упала, когда узнала, что он переводит «Фауста» на язык эсперанто. Я прозвала его Фаустом...

То, о чем говорил мне Яшка Кукуй, оказалось правдой. В то лето, когда я с Дашонкой уехала в отпуск под Вербилки, Птица два месяца не отпускала от себя Эмку, заставляя ее каждую неделю относить Фаусту на квартиру букеты роз.

— Не смей говорить, от кого. Но веди себя так, чтоб догадался. — Исполнительная и добрая Эмка дрожала от волнения.

— Птиц, я боюсь...

В первый раз дверь открыла старая женщина на костылях.

— Тетка, наверное... Пригласила зайти и выпить стакан чаю, а у меня руки трясутся, как будто чужих кур воровала... Как-то неудобно. Еще подумает, что от меня...

Один раз дверь была отворена им самим.

— Покраснел так, как и мы никогда не краснеем... Пристал: от кого да от кого... Еле убежала... Ой, не пойду больше... Владьку проси, она смелее...

— Нет, Владька для этого не годится, — умоляюще смотря на Эмку, говорила Птица. — У ней ведь все, знаешь, как? По-Дашонкиному. Сначала — познакомиться. Потом — «начать встречаться». Потом — «расписаться». Все! А в этом деле нужна тонкость... Она ничего и не поймет...

Да, я ничего не понимала.

— Не знаю, какой смысл переглядываться и в молчанку играть, — с видом шестидесятилетней сводни веско говорила я, — да он на седьмом небе будет, если...

— Да откуда ты знаешь?

— Колотушкина все знает. Поработаешь в библиотеке, как пройдет перед твоими глазами сотня-другая лиц в день, так сразу физиономистом станешь лучше всякого психолога. В два счета познакомлю... Ты только сама скажи, что хочешь...

— А если он женат?

— Узнаем. А вообще — не имеет никакого значения.

— Владьк! Дай честное слово, что ты не обидишься.

— Ну постараюсь, — неуверенно сказала я, — а что?

— Дурочка ты... Да если хочешь знать, то в «этом» смысле, как наша Сюська говорит, то-есть «как мужчина», — он мне и не нравится даже... Не представляю, как можно с ним «дружить» или «проводить вместе время»...

. . . . .  
И теперь, когда Птицы давно уже нет...

Он однажды вместе с требованием протянул мне записку:  
*Куда исчезла Ваша подруга, которая всегда читала Келлер-  
мана и Метерлинка?*

В ответе, который я вернула ему вместе с выписанной им книгой, было написано: «Перечитайте «Вешние воды».

И теперь, когда Птицы давно уже нет...

Фауст по-прежнему продолжает ходить в Ленинскую библиотеку, где рядом с грудой материалов о римской и греческой литературе на его столе лежит томик Гете...

. . . . .  
«Экс»? «Нео»? «Ультра»? «Экстра»? В каком это «изме» мы живем теперь? В каком «нео»? В «неотрадиционализме»? В «неоэкспериментализме»? Во всяком случае не в эпоху «неосентиментализма»? Наверняка нет.

Но однажды, когда высокий человек с торопливой походкой, прозванный мною Фаустом, куда-то на минутку вышел и около его места никого не было, я тихо подкралась и положила на томик Гете большую красную розу...

И теперь, когда Птицы давно уже нет...

Я часто открываю недавно вышедшие первые тома Театральной и Литературной энциклопедии и читаю и перечитываю статьи, подписанные двумя буквами. Статьи того, кого мы с Птицей называли Фаустом...

. . . . .

Моя общественная нагрузка — член месткома! — налагает на меня обязанности. От них у меня часто бывают трехдневные головные боли, когда кажется, что между затылком и позвоночником вставлена палка. Сегодня прихожу на работу — меня сшибают новостью: у Тани Васиной, сотрудницы, работающей в Отделе Микрофильмов, умер муж. Тридцати лет, от рака кожи. Человек, общественный деятель, сослуживица — все во мне пришло в движение. Надо собрать немножко денег, устроить ребенка на неделю в детский сад, послать на дом делегатов с утешением, что товари-



щи не оставят, что товарищи помогут, что будут приняты все меры, чтобы...

— А где похороны состоятся?

— Говорят, на Ваганьковском.

И я сразу вспомнила о ВЕРНОЙ ГАЛЕ.

Это

**Событие третье**

\* \* \*

*Вот уж вечер.*

*Роса блестит на крапиве.*

*Я стою у дороги,*

*Прислонившись к иве.*

*Сергей Есенин*

Вечером над ивами тихо колышутся упоительные сумерки. На крапиве блестит роса. Ни светло, ни темно. Медленно тает летний вечер.

Вдали уютно шуршат по московской мостовой троллейбусы, и хотя света на улицах еще не зажигали, зеленые искры, летящие от их проводов, помогают мне прочесть на памятнике крупную надпись:

### ВЕРНАЯ ГАЛЯ

Искры зеленого цвета, такого необычного цвета, какой можно увидеть только в химической лаборатории, помогли мне понять, что Птица Жарова просто... «любила любовь!»

Именно сюда я мчалась однажды по каким-то незнакомым переулкам и проходным дворам. Гналась за ней, выслеживая, крадучись и прячась за спинами прохожих, опасаясь, что она, по своей склонности к коварству, опять по секрету назначила свидание с Кукуней для того, чтобы одним, без меня, идти на «Голого короля» в молодежный театр «Современник».

Я догнала ее у большого зеленого массива.

*Ворота кладбища открыты для посетителей зимой до  
6 и летом до 10 часов вечера.*

Это было Ваганьковское кладбище!

Птица летела на какое-то очень хорошо знакомое ей место. Повернула за какой-то обелиск с красной звездой, обошла два тяжелых купеческих креста, подбежала к расчищенной площадке, потом вдруг села на небольшой холмик и заплакала...

Это была могила Гали Бениславской, застрелившейся через

год после смерти Сергея Есенина на его могиле и просившей в записке похоронить ее у его ног.

Под тем холмиком, где в теплый июньский вечер рыдала Птица, была похоронена Галя Бениславская. Верная Галя...

Птица просто «любила любовь!»...

Я сижу у Китайской стены и гляжу на слабенький росток подорожника.

Ей не нужен был ни Фауст, ни влюбившийся в нее митрополит-сириец, который из-за нее даже хотел «сложить с себя сан» и клялся ей в том... (я забыла, в чем именно он ей клялся), ни профессор Визгалин, намеревавшийся из-за нее разводиться с женой и без стеснения говоривший всем, даже парикмахеру, который его стриг, что любовь к чудной Нике Жаровой, хотя и безответная, сделала его вновь семнадцатилетним гимназистом. Даже его жена прибегала к Птице и умоляла ее согласиться выйти за Визгалина замуж, потому что иначе (она это чувствует, так как безумно любит его) — он покончит с собой...

Прошло все это, уж давно прошло, но только сейчас я поняла по-настоящему, что Птице нужно было не счастье, а только погоня за ним, за той Синей Птицей, без которой умирает дочка старухи Берленго...

Она хотела быть такой, какой была

ВЕРНАЯ ГАЛЯ.

## Глава V

### ФРАУ ОЛЬГА, ЕРОЙ ТОЛЬКА И МОРДВИН ИВАН

Чехов говорил, что если вы в начале романа упомянули о ружье, то в конце оно непременно должно выстрелить. И мое выстрелит. Обязательно. Если вы скажете, куда для этого нажимать.

Все эти Сюси, Дашонки, Марианночки, фрау Ольги, ерои Тольки и Иваны — зачем они?

А затем, что, может быть, если бы не они, я не получила бы сегодня из Лувра (Франция, Париж) открытку с изображением Ники Самофракийской, Самофракийской Победы. Ника Самофракийская когда-то потеряла в волнах Эгейского моря свою

голову — на том месте, где должна быть голова, на фотографии была приклеена хорошенькая знакомая мордашка и написано: «Это я!»

\* \* \*

— А с другой стороны, скажу я тебе — жалко его! Да. Жалко. Значит своих гони, а тех обслуживай? Да плевать мне, что они негры... Чернота она и есть чернота... Что снаружи, что внутри, все одно...

Фрау Ольга плавно фыркнула.

— Вот на днях видела я фильм «Африка», чехословацкие корреспонденты снимали. Так ведь это что? Голые бабы выскочили из какой-то хаты и давай плясать...

Она сурово вздохнула.

— А кругом мужчины. Как только не страм им? Главное, танцевать она пошла! Нет, ты сперва приберись, образь себя, а потом уж и выходи перед людьми-то плясать, как хозяйка...

Фрау Ольга нахохлилась, осуждающе покачивая головой.

— Как ни велят нам с ними дружить, а лично я подальше от них держусь.

Птица в таких случаях говорила: какое мракобесие!

. . . . .

Хотя моя приятельница Ольга Ивановна Шкапкина была внучатой племянницей московской просвири Степаниды Феоктистовны, но учиться сочному русскому языку у нее нужно с большой осторожностью...

— Все читаешь? — говорила она, полуспрашивая, полуутверждая. — «За прочный мир, за народную демократию»? Ну и чего пишут там? За границей? Как живут-то?

Я только собираюсь переводить ей что-то интересное, но она перебивает меня таким полновесным вздохом, что «кружавчики» ее белой форменной кофточки, растопырясь, подпрыгнули и, слегка дрогнув на очень пышной груди, опустились на свое место.

— Видела я, когда в Вену к своему Василию Степановичу ездила, как они живут, — вдруг выпаливает она, — видела. Нет, радость, коммунизм коммунизмом, а плыть нам еще до них и плыть...

Фрау Ольга немного похожа на чемодан, поставленный вертикально. Она из тех дам, которых и трактором не сдвинешь. Теперь матроны, ей подобные, называются «мощными» женщинами. А работает она в должности заведующей этажом одной

из огромных московских гостиниц, где в основном останавливаются туристы-иностранцы. Поэтому она в курсе всех международных и внутренних дел.

— Слыхала? Дурочка одна из нашей гостиницы за американца собирается замуж. — Фрау Ольга гневно покачала головой. — Ведь подумать только! Ну за народного демократа или даже за китайца — это ладно. А то за врага! Велели мне ей внушить. Ну а теперь внушай, не внушай, — толк один. Тыр-пыр-восемь дыр — ни одной не видно... С ума свихнулась. Говорят, все же разрешат ей... Года два назад в гостинице «Москва» такой же случай был. Уехала та-то... Отпустили. Ну уж — не понимаю. Зна-а-ю я, как за них замуж-то выходить. Слушай.

Я вовсю придвигаюсь к фрау Ольге и осторожно подгибаю под себя ноги.

Повествование начинается.

— Во время войны дело было. Жила у нас в гостинице одна наша актриса и вышла сдуру замуж за американца, тоже вот как эти страстицы. И что же?

Фрау Ольга ждет от меня ответа на свой стотысячный риторический вопрос.

Но я молчу и напряженно смотрю ей в глаза.

— Привез он ее в Америку эту, пожил немножко для близиру и бросил. Теперь побирается там...

— Да что же она не возвращается?

— Возвращается! Да с какой радости, на что глядя? И без нее бедности тут довольно. Нищету-то разводить кому охота? Там все же, как-никак люди живут, а здесь что?

Фрау Ольга припала к моему уху, намереваясь прошелестеть мне что-то конфиденциальное, но на этаже остановился лифт и вышло несколько «гостей».

Моя приятельница внимательно поглядела на одного, наголо стриженного средних лет мужчину с заграничным кожаным чемоданом в руках и тихо (деланно замирающе, но так, чтобы было слышно на всем абсолютно беззвучном этаже), отдельно проворковала:

— Ко-го я ви-жу! Батюшки! Кого же я вижу? Опять Онегин на пути моем...

После рукопожатий и тихого шума около дежурной Раи Амбарцумовны, выдающей ключи и слегка командующей горничными, Ольга Ивановна Шкапкина возвращается ко мне и плю-

хается в огромнейших размеров кожаный мягкий диван, стоящий около такого же чудовищно громадного круглого стола.

— Украинский писатель один, — она важно называет довольно известную фамилию. — С войны ездит. Ничего. На фронте себя очень хорошо проявил. Без ноги. Добрый человек. Главное — никого не обижает. Горничным всегда по десятке, дежурной, если пожилая — двадцатку, а уж если из молоденьких кто сидит — то меньше чем с полсотней она у него домой не уходит.

Фрау Ольга с удовольствием вертанулась в кресле.

— Ты думаешь, и я от него пользуюсь? — притворно грозно вопрошает она, толкая меня слегка легкой рукой во «грудки». — Нет. Я — дело другое. Я — начальство. Правда, афганец один, постоянно живущий в 698 номере, коммунист, на учебе здесь уже лет пять, ты его видела, один раз чулки мне преподнес, помаду и открытку для племянника. Чулки я тут же, сию минуту, обратно, а помаду и открытку оставила. Это невинно. Это можно.

— Неужели можно?

— Да, дозволяется. Согласно инструкции. — Фрау Ольга гордо приосанилась. — Ну, а писателя этого у нас все любят. Веселый и прибыльный. Правда, не святой он.

Я изо всех сил пытаюсь открыть глаза как можно шире и придать своему лицу воробыно-удивленное выражение.

Фрау Ольга объясняет.

— Водит к себе. Ну это ничего. Води сколько хочешь, а только жену не обижай. Правда, ведь?

Конечно, правда. Я пять раз подряд киваю головой.

Ольга Ивановна Шкапкина смотрит на меня с большой симпатией.

— Тоже вот, писатель этот, вроде тебя. Все «рассказывайте, да рассказывайте, говорит, а я вас когда-нибудь опишу». Давай, давай, описывай... Только мне-то что за это будет? Смотри, говорю, подарка тогда не забудь, не менее как нейлоновый заграничный шарф, самое теперь модное...

Ольга Ивановна рассказывает мне все истории сочным, энергичным шепотом...

— Я все насчет той, что за американца замуж собирается. Никак не пойму — не могла она себе спутника жизни из русских найти, что ли? Неужели не смотрел на нее из наших никто? Как по-твоему? Отговаривали ее все, и мать и подруги и директор наш. Уперлась — или за него, или с пятнадцатого этажа брошусь. Вот и возьми ее за рупь, за двадцать...

Фрау Ольга пригорюнилась точно так же, наверное, как сто лет тому назад делала это ее двоюродная бабушка, московская просвирня Степанида Феоктистовна. Подперла щечку кулачком... Но продолжала:

— Ладно, пусть едет. Там ей, скажу я тебе, скоро мозги вплавят. Про детей Козьминых слыхала? Грудного-то у матери прямо на аэродроме из рук вырвали, как обратно на родину к нам из Канады возвращались...

Фрау Ольга ханжески вздохнула.

— Пусть едет. Ясно — легкой жизни захотелось. Вот и все. Она вдруг свирепо, чтобы меня испугать, раздула ноздри.

— Сидишь вот, поддакиваешь мне, а сама так-то тоже не прочь? — грозно спросила она.

— Что вы, Ольга Ивановна? — я прижала руку к груди и перекосила нос. — Я? Вот уж ошибаетесь. Я прочь, прочь.

— Да уж говори, — вдруг неожиданно добродушно продолжала она, — только бы было за кого. Эх, дурочки. Все вы дурочки. За границей твоей толсто звонят, да тонко едят. Вот на днях где-то я читала, что в Англии к завтраку и обеду один только кусочек хлеба подают, да и тот то-о-ненький...

Не дождавшись на этот раз от меня никакого поддакивания, Ольга Ивановна замолкает. Строчки оборочек органди тихо делают путешествие сверху вниз, снизу вверх.

На этаже мертвая тишина, только иногда прошлепает из конца в конец по длиннющему коридору горничная в тапочках или приглушенно прозвонит телефон на столе у дежурной.

— Да-а, — притворно говорю я, пытаюсь перевести разговор на другую тему, — вы, конечно, правы, Ольга Иванн...

— Не Ольга Ивановна, а фрау Ольга...

— Так уж никак и забыть его не можете?

— Не могу. Не могу забыть свою симпатию и тебе велю звать меня фрау Ольга и больше никак. А то любить не буду.

Вот сейчас фрау Ольга целиком превращается в свою двоюродную бабушку, московскую просвирню, и повествование начинается:

— Вот, значит, бывало, приезжаю я к своему Василию Степановичу в Вену. В Гусимзе он тогда работал. Зачем ездила? Ну, знаешь, прибахлится немножко, приодеться. Месяцка на два, на три, как все тогда. А этот австрияк, Герберт-то, все: «Фрау Ольга, да разрешите мне с вами до почты пройтись! Фрау Ольга, да

разрешите мне то! Фрау Ольга, да позвольте мне это...» Я тогда еще ничего была.

— Ну вот и эта, которая за американца, — коварно ввертываю я, — тоже, ведь, может... любовь?

— А то нет? — охотно, но очень тихо подхватывает моя приятельница. — Как я эту историю от горничных узнала, так сразу и думаю — вот это любовь так любовь! Ничего девушка не побоялась! Как же, думаю, можно семью и родину согласиться бросить, как не это?

Фрау Ольга смотрит на меня, а я уставилась в пол, чтобы не расхохотаться.

— Решилась! Решилась и все! — победоносно продолжает она. — Надо же! И что ж? Правильно сделала. Кто не рискует — тот не выиграет.

Теперь я уже решаюсь подхихикивать тоненьким голосишком: вспомнила, что это последнее выражение фрау Ольги было записано как одно из «изречений» в Птицыной тетради.

В заключение моя престарелая подруга весело и мягко ткнула меня локтем в бок.

— Ты что же ко мне в гости никак не зайдешь? А? Приходи. Сретенка, Последний переулок, дом пять, квартира два. Посмотришь как живу. Плохо живу.

\* \* \*

Холодный зимний день. В огромном холле полутьма: окна шестого этажа, где командирствует фрау Ольга, выходят на крышу гастронома, примыкающего к гостинице, на столе у дежурной горит лампа, и сама дежурная дремлет, время от времени так широко в зевоте распахивая пасть, что челюсти попадают не на то место. Не видно ни души. Не решаясь спросить у ней, где моя приятельница, я, делая вид, что иду в буфет, скашиваю глаза налево и вижу: Ольга Ивановна Шкапкина сидит у себя в дежурке, величиной со шкаф, и обедает: ест рисовую кашу на порошковом молоке, заедая ее плавленым сырком.

— Здравствуйте, фрау Ольга! — радостно говорю я, от души целуя ее. — Ну, как жизнь?

— Как в сказке, — с удовольствием отрезает она, принимаясь за мороженое. — Чем дальше, тем страшнее. Все со своими девочками сражаюсь. Раз твой этаж краснознаменный, раз ты материально ответственное лицо, раз ты премии каждый квартал получаешь, — так ты своего достоинства не теряй! Ведь, — фрау

Ольга широко открыла рот и со стоном перевалила с одной стороны на другую огромный кусок мороженого, потом, продышав его несколько раз, проглотила и причмокнула, — ведь в нашем гостиничном деле самое главное — что?

Она несколько секунд смотрит на меня в оцепенении.

— Почему у меня порядок образцовый? Почему у меня на этаже ни одна из горничных никогда у гостя, даже нашего, не говоря об иностранцах, ни нитки не украдет? Почему у меня гардины такой белизны, что смотреть тошно?

Она откинулась на спинку стула и заколыхалась всеми своими передними телесами.

— То-есть больно, больно... больно смотреть, — она замахала ручками, — ну оговорилась. Оговорилась, а ты уж и рада? Почему у меня полы чище зеркала?

Она важно повернулась на крошечном сиденье.

— А потому, душа, что я не работаю, а об-слу-живаю! Ясно тебе, нет? Экзамен на то, как койки заправлять, — на пятерку сдала. Сама завкадрами принимала этот экзамен. А ты думаешь, просто его сдать? Поди-ка вот я положу одеяло, и ты положишь одеяло? Разница будет, нет?

Я чуть повела плечиками. Не знаю, что лучше в данном случае ответить.

— Будет, — категорически рубит фрау Ольга. — А почему? А потому, драгоценность, что главное — это знать надо, как его класть. Вот! Ворсой к себе или ворсой от себя? Кантом к полу или кантом от середины вдоль, со складкой внутри?

Фрау Ольга немного осела, а потом гордо заключила:

— Нет, у меня культура настоящая. Недаром все иностранцы, которые по второму разу-то приезжают, все, ну все, как один, ко мне на шестой этаж опять просятся. Хотим, говорят, опять к Ольге Ивановне Шкапкиной и больше ни к кому. А почему?

Ну что мне ответить фрау Ольге на ее настойчивые «почему»?

— А потому, что у меня все точно так же, как и на Западе у них. Культурно! Вот в чем главное! За границей этой гостиниц полно разных, как и у нас, только разница та, что там не называется «гостиница», а называется «отель»...

Фрау Ольга опять тряхнула своим мощным торсом.

— Скажу я тебе... вот что, — она аккуратненько вытерла батистовым платочком губы. — Возьмем хоть горничную. Ну, горничная она и есть горничная. Некоторые, правда, сознательные, а



другая, когда дел-то не так чтоб, забьется в пустой номер, да и дрыхнет.

Начальница шестого этажа Ольга Ивановна Шкапкина грозно выпрямила спину.

— В таком случае, уж если только поймаю, ты от меня пощады не жди! Хороша Ольга Ивановна, то хороша, это точно, да только все до времени!

Я с нетерпением жду конца, повествующего о расправе со жрицами Морфея.

— Ты, говорю, барыня моя, что же это, а? Ты здесь зачем поставлена? Ты бдишь, или ты спишь? Ты спишь, или ты обслуживаешь?

Я с восторгом жду продолжения.

— Домаша! — вдруг громко позвала фрау Ольга, увидев белый передник промелькнувшей в двери горничной. — Вещи из 615-го выставила?

— Ой, Ольг Ванн, да боюсь я выносить-то, — захныкала горничная, — гость какой-то беспокойный. Фронтовик психованный. С периферии. Скандалить будет.

— Ну это мы его к порядку призовем. Скандалить! А мальчишки наши на что? Им за что деньги платят? Выставляй вещи. Чуть что — ко мне.

Потом нагнулась и каким-то серым шепотом проговорила:

— Вот народ-то! Главное, возмущается он! Ведь когда наш, советский, въезжает в номер, то еще внизу, у администратора его предупреждают: номер под броней, в любой момент может понадобиться иностранцам. Даже подписку требуем, что протестовать не будет, если выселить придется. И что же?

Мы с полуоткрытыми ртами смотрим друг на друга.

— Третий день ему говорю: гражданин, освободите, товарищ, оставьте номер, переезжайте в Останкино, там есть в общежитии свободные человеко-койки, не могу ни дня вас держать больше, партию негров ожидаем, профсоюзную делегацию из Западной Африки. — Фрау Ольга перевела дух. — Никакого внимания. Еще угрожает — жаловаться, говорит, буду, до самого Хрущева дойду. Так и бьешься с ними. Он безобразничает, а ты нервничай.

Ольга Ивановна замолчала. Потом как будто что-то вспомнила и на лице ее появилось жалобное выражение.

— А с другой стороны, скажу я тебе — жалко его! Да. Жалко. Значит, своих теперь гони, а тех обслуживай? Да плевать мне, что они негры... — снова заклокотала она.

И опять началось то, с чего пошла эта глава. Понес Алешка отца...

Только «мальчики» и выручали фрау Ольгу на ее труднейшем поприще завэтажом крупнейшей московской гостиницы, где нужно было быть и дипломатом, и жандармом, и кокеткой, и «материально ответственным лицом».

Да, «мальчики» ее выручали.

\* \* \*

— Да что ты обзываешься? Я вот тебе...

— Толь, а ты всегда в мальчиках служил?

— Ты у меня пошу-у-тишь!

Теперь уже на огромном мягком диване в холле сидим мы троим: фрау Ольга, я и «ерой» Толька.

Анатолий Николаевич Выюнков.

Какую должность он исправлял в одной из самых больших московских гостиниц?

Уж разрешите мне соврать, что я не знаю. Он, действительно, ходил по этажам... И в случае всяческих недоразумений срочно вызывался к заведующим оных. Как к нашей фрау Ольге, например. Он был «очень даже ничего». И — «все мог». Почти всё.

— Тебе ковер немецкий с оленями не нужен? — ласково спрашивала меня фрау Ольга и через минуту уже шипела в телефонную трубку:

— Толик, сынок, это с шестого этажа тебя беспокоят. Да я же, Ольга Ивановна... Ой, Толь, да мне бы еще один коверик из ГУМа, немецкий, с оленями. Устрой, Толь! Век не забуду!

Собираясь к Эмке в Ленинград на ноябрьские праздники, я никак не могла срочно за один день достать билет в «Голубой экспресс».

— Да что же ты меня-то не попросишь? — Толька солидно прокашлялся, — уж что-что, а это мы можем...

— Можете, Толь, можете?

— Да.

Я гляжу на его отполированную физиономию, отхожу на всякий случай на два шага в сторону и опять принимаюсь за свое:

— Так Толь, а Толь... Так, значит, ты всегда в мальчиках работал?

\* \* \*

Нет, не всегда.

Году в 1945, сразу после войны, при входе на Тишинский рынок у Электrozаводской, сидел около сине-зелено-желтоватой веселой церкви хорошенький парнишка с набриолиненной головой и, поддевая костылем наиболее упрямых в смысле подачи копеечки прохожих, подревывал:

...Вы, жрущие яищи и пьющие молочищи!

А я здесь сижу на пепелище

И умираю от беспищи!

Все базарные восторгались его талантом и думали, что это его сочинение, пока мордвин Иван не выяснил, что парень совершил плагиат, занял стихи у Василия Кирилловича Тредиаковского и выдал их за свои.

Набриолиненной башке подавали от страха даже майоры и подполковники.

Боялись.

Во-первых, костыля.

А во-вторых, звезды Героя Советского Союза на груди.

Они еще не знали, что за шантаж и обман трудящихся парень уже имел несколько приводов в районное отделение.

В милицию он шествовал спокойно с костылем подмышкой, время от времени равнодушно-механически посылая участкового Карнаухова к...

Или, если был не в очень свирепом настроении, голосил:

— За что боролись? За что кровь проливали?

Впереди милиционера и парня, скандируя

Ко-ни сытые

Бьют ко-пытами,

Встретим мы

По-сталински врага...

маршировали мальчишки.

Сигнал «Разбегайсь, бабы, Только ероя опять в отделение повели!» подавался Ларивоновной, старухой с заячьей губой.

Парень, сопровождаемый милиционером в отделение за шантаж, был Толькой.

— Сконфузили ведь его на войне-то, знаешь? Ведь же сконфуженный он, — выла Ларивоновна вслед милиционеру, чтобы разжалобить его.

По сигналу Ларивоновны разбегались прятаться по подворотням и ближайшим парадным торговки красной смородиной, которые всячески уклонялись от того, чтобы заплатить государству пятерку за место на территории «собственно рынка» и прельщали своим товаром на тротуарах прилегающих к нему улиц.

Из милиции Тольку выпускали через полчаса, после того, как он делился с дежурным милиционером набранной мелочью.

. . . . .

Но... «это было давно, я не помню когда» — поется в старинной песне...

А за прошедшее время герой Толька очень вырос — интеллектуально и морально.

Он совсем современный молодой человек: прекрасно «водит» в танцах, любит заводить знакомства с девушками на катке и приглашает их на матчи с футболистами-иностранцами и на встречи бадминтонистов. В кафе «Аэлита» на улице Горького у него имеется почти персональный столик. В кафе этом часто собирается молодежь, его посещают иностранцы...

Несколько лет назад, знакомя меня с Толькой, фрау Ольга веско сказала:

— Вот, Анатолий, гляди какая барышня замечательная. Кровь с молоком, молоко с кровью. Познакомьтесь. И тебе жениться пора!

Из рассказов Тольки я выяснила, что девушек у него и без меня труба нетолченная, и что он в самом деле был без пяти минут Героем Советского Союза. Оказывается, во время войны, когда ему было всего восемнадцать лет, несколько танков, в том числе и его, первыми форсировали Днепр под ураганным огнем противника. Их троих, Володьку Миловидова, Юрку Бабенко и Тольку Вьюнкова, представили к награде и к званию Героя Советского Союза. Ну, Володьке и Юрке действительно дали по золотой звездочке. И ему тоже дали. По соплям. За то, что поругался с политруком. Вот он сразу после демобилизации нагло всем «им» притворился инвалидом, величал себя Героем и, нацепив фальшивую Золотую Звезду, юродствовал на Тишинском.

Теперь все. Лет пять поработает «мальчиком», а потом дело это по боку. Не солидно как-то! Это были слова самого Тольки. Не со-лид-но! Да и кроме того...

Ведь у него хорошая профессия есть!

Ведь он — шофер первого класса!

— Таксистом трудоустроиваться — дураков нет. Не в жилу мне это! Хочу в персональные к какой-нибудь шишке на ровном месте подклеиться. Во жизнь малиновая настанет... Будь здоров — не кашляй. . .

Так трепался Толька Вьюнков.

Однажды в гостинице у фрау Ольги я познакомила его с забежавшей туда Птицей. В этот день, в новом платье с круглым воротничком, она была действительно похожа на очаровательно-го веселого чижикиа.

Вьюнков окаменел. Я ведь говорила, что Птица имела несчастье очаровывать всех, кто бы только с ней ни столкнулся. Она была в ударе, много болтала, хохотала, а Толька молчал, очарованный, и только, когда Птица встала, чтобы уходить, робко спросил:

— Разрешите поинтересоваться, Ника, когда скончалась ваша бабушка?

(Это у нас потом вошло в поговорку).

— Конечно, и ты ничего на лицо, — польстил мне Толька, когда Птица ушла, — а она лучше. Вот, говорят, в некоторых женщинах изюминка есть. А в ней — не одна, а сто изюминок. — Он вдруг умоляюще посмотрел на меня, — Владь, будь другом, айда втроем на балет на льду в Лужники, а? Славка Петров видел, говорит — колоссаль-штука. Компанию составишь? А то мне как-то с первого раза неудобно ее одну приглашать. . .

Птица хохотала.

— Ну что ты, Владька, с ума, что ли, сошла? Я его боюсь. Да и дома загрызут. С эмгебешником?

\* \* \*

— Вот, знаете, Владилена Михайловна... вот, значит... Как это приехал я в тыща девять сот тридцать четвертом сюда из провинции, так, первым делом, пошел и купил себе популярную литературу для осмотра нашей советской столицы в виде книжки за один рубль тридцать копеек. Называлась эта книжка — Иван подносил к моему носу кривоватый, вареной сосиской, палец — «Куда пойтить?»

Научно-популярная книжка «Куда пойтить?» сыграла в нашей общей жизни весьма положительную роль, и потом, когда нужно было узнать, где находится такая-то улица или с какими пересадками на метро нужно ехать до Павелецкого, — надо бы-

ло спросить Ивана, так как по знанию столичных улиц он мог соперничать только с моими предками — московскими извозчиками.

Кроме того, и это самое главное, та же книга научила его ценить и понимать искусство.

Когда в Москве к столетию Консерватории перед ее зданием в садике поставили памятник Петру Ильичу Чайковскому, Иван пригласил меня как-то вечером пойти туда прогуляться для обозрения новинки и составить собственное мнение.

У памятника стояла группа важных, хорошо одетых людей. Мужчины — в туфлях на сплошной подошве, женщины — в пальто, сшитых из чехословацких одеял. Чайковский — вот-вот его ветром сдует — с эфемерным видом и приподнятым пальчиком смотрел на черно-каменную партитуру.

— Ну а вы... вы... вот, пожалуйста, товарищ! Ваше мнение, гражданин, насчет памятника нашему великому композитору? — Репортеру с камерой через плечо понадобилось мнение человека из народа.

Иван хлопнул себя по клетчатому кашне.

— Не Чайковскому статуя это, а только что какой кокетке с Монматери.

Он был очень начитан и знал, что на «Монматери» проживают кокетки.

— Гражданин, гражданин, товарищ, позвольте записать ваше оригинальное мнение, фамилию и имя, возраст, профессию и...

Но мы с Иваном поспешно удалились. Испугались — не забрали бы...

\* \* \*

Когда соседки и товарки приставали к Дашонке насчет того, чтоб она созналась, что именно есть между ней и Иваном Мордвиновым, она ловко перекашивала глаза в сторону:

— А я тебя категорически утверждаю, что ничего нет. Ну, конечно, приходит он, ну то... сё... обмениваемся мнениями... а чтобы что такое? Нет и все. Хоть у Влади спросите, мы с ней на одной кровать спим...

Я с удовольствием подтверждаю: только обмениваются мнениями и больше ничего.

Каждый раз перед приходом Ивана Дашонка просила меня:

— Владилена, ты мне не смей из комнаты выходить, когда он придет. . .

— А что?

— Целоваться лезет. . .

— Ну и что ж?

— Не твое дело. Ну и что ж! Если бы он официально холостяком был — ну тогда другое дело. Еще на собрании проберут... Парторгша наша каждой бочки затычка, а у самой мальчишка незаконный с фронта.

\* \* \*

Однажды, очень-очень давно, в то самое лето, когда кончилась война, кто-то дал Дашонке на работе для меня прочитать роман Вербицкой «Вавочка».

— На. Говорят, хорошая. Запрещенная.

В книге мы нашли засохшего клопа.

Через два дня в нашем закутке было невозможно потушить свет: стаи рыжих бандитов набрасывались на нас, как звери. Дашонка поехала на рынок поискать какого-нибудь клопоморачастника. Нашла. Договорилась за три сотни, и через день мастер явился. Я держала лестницу-стремянку, пока он прыскал какой-то вонью на стены и, по строгому наущению Дашонки, должна была зорко следить за тем, чтобы по окончании работы незнакомец ничего не стащил. Особенно тщательно велела она мне охранять кухонный столик, в котором без замка хранились пустые бутылки и банки из-под американской тушонки.

Благодаря моему чуткому наблюдению, из столика ничего не пропало, но через три дня, вечером, когда мы с Дашонкой пили чай, настоенный на горелых хлебных корках, дверь широко распахнулась и в комнату влетел сначала маленький сундучок, потом смятая кепка, а за ними... наш новый знакомый, клопомор! Он вежливо пожелал нам приятного аппетита, осведомился, не беспокоил ли он приятную компанию, Дарью Федоровну и Владилену Михайловну, а потом спокойно заявил:

— Моя стерва от меня блядует. Ну и хрен с ней. А мне уж разрешите здесь...

Свалился под стол и жутко захрапел.

Дашонка отчаянно завизжала и приказала мне широко распахнуть дверь, чтобы все соседи видели, что мы здесь не при чем и что Иван ворвался насильно. Потом она поспешила выс-

кочить к самому людному месту двора — домоуправлению, где перекудаhtывалась пара древних старух, и заголосила:

— Да я и вижу-то его второй раз в жизни... Нервотрепка только одна... А я откуда знаю? Пьянничал где-то, а потом ворвался без стука и валяется в моей квартире под столом, как свинья в апельсине.

Эта свинья в апельсине именовалась Мордвиновым Иваном Петровичем.

Кличка — мордвин Иван.

Так, еще давно, началось наше знакомство.

После вышеописанного случая мордвин Иван зачастил в наше общежитие. Он влюбился в Дашонку. Приносил подарки: мне коммерческое мороженое — сливочный брикет, а ей пузырьки духов «Крымская роза». Дашонка была очень рада. Вечером она мочила в духах кусочек ватки и клала его себе под нос, чтобы ночью вдыхать аромат.

Но сам Иван считал такие дорогие подарки ни за что и рассказывал нам:

— Это ерунда. Не стоит свеч. Порадовать-то сейчас женщину особенно нечем. А вот раньше, купишь своей барышне, как грицца, бузы, напиток такой был, ну там семечек, прокатишь на извозчике...

Жена Ивана, Ульяша, полненькая веселая продавщица булочной, много моложе его, как-то даже прибежала к нам посмотреть на свою соперницу и немного, если понадобится, полаяться. Но, к моему неудовольствию и даже отчаянию, все кончилось страшно скучно. Толстененькая булочница пила чай и кокетливо верещала:

— Да мне-то что? Что я, не найду себе? А развода не дам, и не надейся. Раз женился, значит живи...

Дашонка была на высоте. После ухода Ульяши оповестила соседок:

— Он и жену не тиранит и ко мне хорошо относится... Где теперь мужиков-то взять? Если с хорошим человеком — никто не осудит.

Никто и не думал ее осуждать, даже старухи.

— Ничего мужчина, — с энтузиазмом продолжала Дашонка, — только белое вино очень любит. Жена его говорила, что



уж и чертей видел. Напъется, запрется один в комнате, свет потушит и давай мракобесничать...

— Значит, говорила, что она себе другого найдет? И развода не даст, чтобы на мои денежки к себе хахалей принаживать? Т-а-а-к... — мрачно прохрипел Иван.

Потом он три дня трудился на Алексеевском кладбище на могиле своей матери. Стер тревожное, написанное краской «Остановись, прохожий, я дома — ты в гостях!» и вывел заново: «Все слова твои сбылись, все сбылись они.»

\* \* \*

...в палатке, сбитой из старых деревянных стендов для афиш и ржавых кусков гремучего листового железа, мордвином Иваном был устроен на том же Тишинском рынке, где разбойничал ерой Толька, собственный Комбинат бытового обслуживания для приезжающих колхозников. Он и клопов морил, и малярничал, и столярничал, и матрасы перебивал и кастрюли лудил и точил ножи-ножницы. В основном же его заведение славилось двумя вывесками. Первая гласила: «Художественная фотосъемка». Вторая — «Лучшее в Москве изготовление персидских и китайских ковров».

Что касается первой вывески, фотографии... то сюда клиенты больше привлекались душещипательными надписями на визитках и открытках. Иван был поэтом, и его Худфото славилось следующими задухшевыми стихами:

Если в жизни придется расстаться,  
Значит наша такая судьба.  
Пусть на память тебе остается  
Неподвижная личность моя.

Неподвижная личность самого Ивана стояла у Дашонки на комоде.

Вторая вывеска имела тесное отношение к домашнему уюту.

Если вам нужно было украшение для комнаты, вы принесли Ивану гладкое байковое одеяло, а в ответ получали ковер.

Персидский — по готовому контуру-орнаменту масляными красками.

Или

Китайский — черные волны, оранжевое солнце, желтая китаянка с двумя китайчатами. Китайские ковры (они величались Иваном «сюзанэ») были дороже. Надбавка бралась за стихи, написанные масляными красками у ног китаянки:

Разлилися бурны волны  
Все готовы поглотить,  
И спешит скорей с детьми  
Молодая мать уйтить.

Клиентура осаждала. Деньги лились.  
Но деньги Иван тратил на водку...

\* \* \*

... с годами, по неизвестной причине, пьянство Ивана сильно уменьшилось (старуха Ларивоновна уверяла, что он был не пьяница, а анкоголик, и выздоровел после того, как однажды в Лианозове был сильно искусан пчелами).

Действительно, после случая в Лианозове мордвин Иван уже не мракобесничал и не валялся, как свинья в апельсине, где придется. Выпивать — выпивал, но не мертвою чашей, а с умом и редко.

И все же по привычке вознегодовал, когда в пятьдесят седьмом году вдруг почти в два раза повысили цены на водку:

— Конечно, не большие мы пивцы, а в хорошей компании почему водчонки не попробовать? Какой же это праздник без вина? — Иван искал у меня моральной поддержки. — При коммунизме, при этом, говорят, нельзя будет вином баловаться... За волоса к коммунизму этому тащат... А ты дай их женам хотя разок по магазинам-то побегать, так они мужьям-то в рожи бы вцепились, не надо, мол, нам никакого коммунизма...

Иван для видимости, культурно, крепко вытирал нос носовым платком.

— И плати теперь за поллитру шестьдесят целкачей, когда ее себестоимость всего девяносто копеек? Умные у нас вожди-то, умные, ничего не скажешь. — Он слегка подпрыгнул, будто что-то вспомнил. — Да хоть Верховный Совет взять... Правительство наше. Набрали, как грицца, девок, которые хорошо умеют доить коров — вот тебе и правительство. Государства наша не дура. Н-е-т, она не дура...

— Ну уж, Иван, — ввязывалась Дашонка, — это уж ты... Все же работа это не шуточная людьми-то управлять...

— Работа, она конечно работа, — соглашался Иван, — командовать людьми всякий может. Ручки только мы, дураки, за них подымай, голосуй... Работа у них ничего, работа подходящая, работа не бей лежачего...

Но... точно такая же работа была теперь и у Ивана.

\* \* \*

Дело обстоит так.

На станции Ромашкино, в зелени большого сада, пугливо прячется среди деревьев богатая дача. Вокруг нее день и ночь носится легковатый белый пух и слышится многоголосое кудахтанье.

Мордвинов Иван Петрович сидит в плетеном кресле у стола и сортирует куриные тушки и яички.

Тихо бормочет:

— Курочка Женичка. Зарублена двенадцатого июля в пятнадцать часов ноль ноль минут. В корзину номер один.

— Яичек — двадцать штук. Снесено безымянными наседками того же дня утром. В корзину номер два.

И вписывает эти данные на бумажку с адресами.

В комнату входит пышная Анюта, жена Григория Фомича, хозяина дачи и куриной частно-государственной фермо-фирмы «Эмбрион».

— Иван Петрович! Когда на семнадцатую дачу в Барвиху отправлять будешь в следующий раз — петушка режь. Звонили только сейчас. Дочка у них куриного бульона не переносит. Слишком жирный. Сегодня обойдется, а другой раз валяй петушка руби. Они постнее.

— Можно.

Мордвин Иван аккуратно пакует корзиночки, вкладывая туда написанные красивым почерком адреса. Кому-Куда-Что?

В Барвиху — дача номер семнадцать — одно.

В Серебряный бор — дача номер двадцать пять — другое.

На улицу Грановского — дом... квартира... — третье.

— Это чью же они курятину едят? Да это чью же они цыплятинку уважают? — гордо шепчет Иван, действуя оперативно.

Потом берет в руку яичко и проглядывает его на свет.

— Хоть в телевизор через него смотри. Розовенькое. Тепленькое. Светится.

Грузно шлепнувшись, у дома фермо-фирмы «Эмбрион» остановилась большая зеленая «Волга».

— Пра-ви-тельст-вен-на-а-я, — перекрестным свистом сорвалось с мальчишечьих губ всего поселка.

Из «волги» выходит ерой Толька. Пятнадцать беленьких корзиночек, похожих на жирненьких голубей, толпящихся у Манежа, прижавшись друг к другу, стоят на террасе.

— Толик, яички не расколи! Сколько с кого — написано.

— Будет в ажуре.

Иван с нежностью гладит Тольку по спине — его любимый племянник Вася давно убит на фронте.

Это мордвин Иван вывел ероя Тольку в люди, устроив его на хорошее жалованье «кое-куда» (еще говорят «туда» или «в одно место»).

Это мордвин Иван сделал Тольку человеком, сместив с церковной паперти Тишинского рынка красивого парнишку с набриолиненной башкой.

— Советский молодой человек, фронтовик, как грицца, а побирается как старуха-копеешница!

Это они, ерой Толька и мордвин Иван, помогают нам во всяких крупных и мелких делах. Чуть — что, мы их просить, а они — звонить. Куда? Куда надо. По «вертушке».

И через несколько дней:

1. Радиола, воющая ночь напролет у нас во дворе и не дающая никому в квартире спать, — уносится в милицию, а родителям наших стилиг всыпают по первое число и выписывают штраф — десять рублей за нарушение правил социалистического общежития.

2. В моей комнате к батарее — «в порядке исключения» — добавляются три лишние секции, и я перестаю хныкать, что мне иногда прохладно.

Евгения Юрьевна, зубной врач, говорит мне:

— Владенька, протезист Мирон Самолыч меня так просил... Через ваших всемогущих знакомых... Посодействуйте, чтобы в протезном кабинете поставили новую бор-машину. Давно обещали. Будет, конечно. Но когда? А если маленький толчок, ну только один звонок «оттуда», и всё будет в порядке...

Через три дня протезист Мирон Самолыч приносит мне коробку «трюфелей».

Потому что

3. Бор-машина стоит в кабинете.

И все это устраивается в три дня ероем Толькой или мордвин-ном Иваном.

После звонка «по вертушке».

«Туда».

Тем, которые «они».

\* \* \*

Фрау Ольга ко всем этим делам стоит несколько боком.

Должность (зав этажом гостиницы, где проживают, главным образом, иностранцы),

Чин (член партии с 1945 года!) и

Заслуги (ездила младенцем с родной сестрой Капитолиной в обозе конницы Буденного) — у нее больше, чем у Тольки и Ивана.

А власти меньше.

Так что ей приходится действовать таким образом:

— Толь, Толик... Мне бы... Устрой, а, Толь?

— Уж что-что, Ольга Ивановна, а это мы всегда можем...

Если в гостях на кожаном кресле шестого этажа восседает мордвин Иван:

— Иван Петрович! Уж даже и не знаю, как начать...

— Смелее, Ольга Ивановна, — однако делает брови треугольничком. Боится, что просьба трудна и неисполнима. Все градации их по степени исполнения он знает наизусть, и если невозможно — то сразу отказывает.

— Уж не откажите... Дочке Лидочке нездоровится... Цыпленочка бы ей, да пяток хотя яичек свеженьких...

Лицо Ивана озаряется.

— Да Ольга Ивановна! Да неужели же мы не люди? Да через три часа Анатолий доставит.

Ну, вот они:

Фрау Ольга.

Ерой Толька.

И мордвин Иван.

## Глава VI

## СИРЕНЕВЫЙ СОН

*Отказываюсь быть в бедламе нелюдей*

*Марина Цветаева*

Сиреневый? А может быть, просто... зайца обманчивый сон? С одним закрытым глазом и хлопающими ушами?

• • •

Это случилось как раз в тот период, когда Птицу и меня вдруг стала терзать какая-то неопределенная тоска. Целыми часами бледные, с чулками, забрызганными грязью, мы бродили по нашей любимой Ордынке и думали, что бы сделать такого, чтобы удивить всех? Зайти в парикмахерскую и обриться наголо? Купить себе хибару и возрастить тыкву? Или закрыть свои бледные ноги?

После распределения, в мае, когда Птице сказали, что ее, как незамужнюю, оставят без назначения, а если ей уж так неважно без работы, то она может ехать преподавательницей иностранного языка в Чапаевск или идти работать бортпроводницей в Гражданский Воздушный флот (Марта Шишкина и Роза Евстигнесва работают же, а вы что за птица?), — к ней в коридоре, после того, как она в слезах выскочила из кабинета директора, где происходило распределение, подошел, вышедший вслед за ней, полноватый человек с большой лысиной.

— Моя фамилия Строгов Василий Александрович, — с достоинством сказал он. — Я представитель ВОКСа. Не плачьте, товарищ. Не подписывайте никакого Чапаевска и никуда не поезжайте. Ничего вам не будет. Пугают только, что под суд отдадут. Нет такого закона. Идите работать в нашу организацию. Мне нравится ваше лицо.

Птица радостно захлопала крылышками.

— А почему же вы перед комиссией не сказали, что согласны меня взять?

— Эх вы, ребенок. Да разве там это возможно? Начнется всякая мусть. Комсомолка, скажут, неважная, общественной работы никакой не вела. Вон у нас замужних, более заслуженных, сколько без распределения осталось, а вы ее.. Ни к чему это. Никому не говорите. А во второй половине августа зайдите ко мне и будете оформляться.

Так Ника Жарова, по прозвищу Птица, начала работать переводчицей английского, французского и немецкого в одном из самых интересных учреждений Москвы.

Это был самый счастливый период в ее жизни. Не знаю, к добру это или нет, но именно этот период внес такой сумбур в нашу жизнь, что пришлось временно потерять ощущение даже относительного покоя...

\* \* \*

Появились, во-первых, интереснейшие события, затем новые мысли и, самое главное, — самые серьезные заботы.

С раннего утра на работе Птица была бурно занята.

— ...Загорск, Загорск, я уже полчаса на проводе... Это отец Алексей? — радостно надрывалась она в телефонную трубку, когда с Загорском было, наконец, соединено, — говорит Ника Жарова... Из... Да, да...

Я сидела в углу, как пришедшая к сотруднице Жаровой «по личному делу». О том, как я была изумлена, слушая все это, я написать не могу, так как, несмотря на свою страсть ко всяким сравнениям, не могу подобрать ни одного.

— Так, отец Алексей, — трясла перышками Птица, — значит, у меня сегодня группа в пятнадцать человек, все американцы... Ровно в три будем у вас...

— Владя, — смущенно говорил мне пятнадцатилетний Слава, племянник знакомых, — вы не можете попросить вашу подругу одолжить у какого-нибудь американца кусочек жевательной резинки?

Рудик, товарищ Славы, подпихивал приятеля в бок.

— Нет, Славк, лучше вместо этого попросим, чтоб она нас пустила посмотреть, как эти американцы ноги на стол кладут...

Вечерами события передавались мне, Сюсе, Эмке и тете Тamarочке.

— Этот француз, который по классу «люкс». Говорит: «Боже, ну зачем нас все возят по кладбищам каких-то девушек (тут последовало душераздирающее хи-хи с нашей стороны, так как имелся в виду «некрополь» Ново-Девичьего), по каким-то древним крепостям, монастырям? Я хочу видеть живых людей, разговаривать с ними, а не с покойниками. Вот пригласите меня лучше на коктейль к себе домой...

Сюся и Тamarочка дуэтом испуганно вздрагивали.

— Да нет, говорю. Папа лежит больной, не могу. А почему вам не нравятся монастыри? Мы хотим показать иностранным гостям, что у нас свобода религии и что все, кто хочет — может...

— Свобода... Какие-то страшные юродивые в этой лавре, тоска, вонь... Ведь это настоящий четырнадцатый век. И почему это говорят «Матушка Рус?» Гораздо правильнее сказать — «Бабушка Рус»...

Это нас доконало. По-моему, именно с тех пор у меня в животе от смеха лопнула какая-то жила. Придется делать операцию.

. . . . .

Особые мысли во всем этом сумбуре у Птицы тоже появлялись.

Однажды она мне сказала:

— Этот индусик... Писатель из Индии мне и говорит: «Вот никто из вас в Бога не верит, а все-таки объясните же мне тогда, почему вы — чуть что: «Ах, Боже мой! Ах, Господи!» Уж говорите тогда «Ах, мой Ленин! Ах, мой Сталин!» В конце концов, «Ах-х-х, мой К-к-ру-ссс-чев!»

. . . . .

Приехали из Парижа сестры Н... Важные старушки. Дочери очень известного русского теоретика марксизма. Чуть ли не с самим Хрущевым им свидание устраивалось, а черную икру они за окно прятали.

Сестрички долго вглядывались в Птицыно лицо, а потом вдруг заявили, что отказываются от своей старой переводчицы Дины Слобожан и хотят новую, Птицу. Только Птицу. Если это только, конечно:

Будьте любезны

Извините пожалуйста

Простите великодушно — возможно...

— Барышня умная, барышня прелестная, барышня красива-а-я, — скромно пропели они.

Георгий Пухов, переводчик маленького японца, ученого-атомника, принес в Бюро огромный пакет с надписью «Нике Жаровой».

— Моя япоша просил перед отъездом тебе передать. Что там — не знаю, не открывал.

Георгий хмыкнул.

— А между прочим, странно. Где это он тебя высмотрел? Я что-то не замечал, чтоб он хоть раз у твоего стола сидел. Ты ведь, говорят, особенной популярностью у америкашек пользуешься...



В пакете Птица нашла заграничную сумочку с апельсинами и прекрасный... мужской свитер.

В приложенном письме было сказано:

*Дорогая Ника:*

*Я никак не предполагал встретить в России самый чудесный японский цветок — сиреневый сон. Этот цветок — Вы. Свитер я Вам оставляю только потому, что он немного превышает вес дозволенного мне на самолете багажа. Я был бы счастлив увидеть Вас снова, и, надеюсь, увижу.*

*Ваш И. Такахаши.*

Птица посмотрела в окно. Она была счастлива: свитер пригодится на зиму Тamarочке. Какой он мягонький! Весит не более двухсот грамм.

— Представляете, какого он мнения о нашем жизненном уровне, когда оставляет девушке-цветку! — мужской свитер, — сказал Леонид Золотарев, один из переводчиков.

— Н-н-н-е-т, не могу, не могу, — надрывался Георгий Пухов, — цветок? Никашка, ты самый прекрасный японский цветок? А про пальто он знает?

История с пальто.

В том году Птица, наконец, после восьмилетнего перерыва, сшила себе новое пальто. Отрезное в талии, из темно-синего фуле. И к нему заказала в мастерской на Столешниковом такую же шапочку. Радость от пальто была настолько безмерна, что когда я умоляла Птицу не ездить одной вечером в Тайнинку навещать заболевшую няню Катю, боясь, как бы ее там не изнасиловали, она говорила:

— Изнасилуют-то что! Вот как бы пальто не сняли!

И хоть это было похоже на известный анекдот, Птица не шутила.

Начало было точно такое же, как и у бедного Акакия Акакиевича Башмачкина. Грабитель, здоровенный белобрысый парень лет двадцати, схватил Птицу за воротник: «Снимай, а то... Только пикни...»

А конец Акакию Акакиевичу и не снился.

Птица размахнулась новеньким рукавом из материала фуле и влепила грабителю в рожу такую затрещину, что он упал наземь и завыл страшным голосом.

Жертва же (Птица) изо всех сил бросилась бежать к электричке, боясь, что ее арестуют за убийство.

В этом случае, — я прямо заявляю и прошу учесть, — между мной и Птицей нет и не может быть ничего общего. Я бы... «Ой, миленький, ой, драгоценный, ой, все бери, только не убивай...»

Анна Давыдовна, мать нашей Эмки, прослушав всю эту историю, долго огорченно трясла головой: сначала вперед-назад, назад-вперед, а потом справа-налево, слева-направо.

— Ну, Ника, я вижу, что тебе замуж не выйти.

— Это почему же?

— Так, — коротко отрезала Анна Давыдовна. — К тому идет. Если молодая девушка может свалить ударом с ног здорового мужчину, — это значит, что у нее тяжелая рука. А тяжелая рука бывает только у старых дев. Нет, помяни мое слово — замуж никому из вас, ни тебе, при всей твоей красоте, ни Владе, ни, тем более, Эмме моей — не выйти...

— А Владька причем?

— Ну как это причем? Пригласили мы ее тут на днях. Было много молодых людей. Нарочно, конечно, пригласили, чтоб познакомиться. А она не успела дверь открыть — и давай горланить на весь коридор: «Где мои женихи? Где тут мои женихи?»

. . .

И все-таки, несмотря на тяжелую руку, мужской пол осаждал Птицу со всех сторон.

Высоченный чех подкараулил ее после работы, гнался до троллейбуса:

— Товарищка, товарищка...

Наверное, хотел проводить домой и по дороге объяснить «товарищке Птице» в любви.

— Друзья, — обращался Василий Александрович Строгов, начальник учреждения, к группе венгров, толпящихся около Птицыного стола, — вы можете подойти к другим переводчикам, ведь это абсолютно безразлично, кто будет вас обслуживать...

— Нет, нет, это совсем не безразлично, — вперед выступил самый высокий, самый красивый, самый знающий по-русски.

— Нэки йо арца, нэки йо арца — вот почему не безразлично...

А по-венгерски это значит: «Какое хорошее лицо!»

Чтобы как-нибудь закруглить эту тему, следует сказать, что после каждого «подарка», оставленного Птице (духов «Жоли мадам», губной помады в футляре с выскакивающим зеркалом, «безразмерных» чулок и так далее), после каждого письма с иностран-

ным штемпелем, пришедшим на имя «прелестной переводчицы мисс Жарсон», после каждого случая, когда ей было оказано более чем «просто внимание», — она немедленно вызывалась к Глав-Нач-Пупсу.

— Ну-у, так... А как его политические взгляды?

— Очень, очень хорошо отзывался о новых домах на Калужской...

— Так, так...

— Молочный автомат на улице Чехова и жареную картошку в пакетиках очень хвалил...

— Мм-ммм... Значит? Ваше личное мнение?

— Культурный со всех точек зрения.

Это последнее Птицыно заключение заносилось Пупсом в какую-то записную книжечку. Она подписывалась под сказанным. А книжечка передавалась выше — от пупса к пупсу. По рангу.

Все эти беседы должны были, конечно, держаться Птицей в строгой тайне, но и она и другие переводчики и переводчицы рассказывали все о разговорах с пупсами с подробностями не только друг другу, но и людям посторонним, как мне, например.

Издевались над пупсиками и, лениво выполняя свои обязанности, описывали им, письменно и устно, свои «беседы» с иностранцами, привирая кто во что горазд.

Кроме того, необходимо было представить и отчет о собственной персоне и ответить, обязательно в письменном виде, на следующие вопросы:

1. Кто ваши друзья? Их имена?
2. Что вы любите, чем увлекаетесь?
3. Какова ваша цель жизни?
4. Какой ответ даете иностранцам, когда они интересуются, как вы относитесь к своей родине?

Ответы на эти интеллектуальные вопросы мы с Птицей сочиняли вместе.

Вот они:

1. Друзья мои — люди не столь активные, сколько правдивые и неприспособленцы, не потерявшие души. Их имена: Сюрмюль Сюзанна Семеновна и Кадырова — в девках Могилевкина — Марианна. Больше ни с кем не дружу.

2. Больше всего люблю мармелад (как А. П. Чехов) и увлекаюсь стихотворением Гумилева «Жираф». А также природой, музыкой и тишиной.

3. Цель моей жизни — найти Соломенную сторожку.

4. Когда иностранцы меня спрашивают, как я отношусь к своей родине, я отвечаю: «Моя родина там, где проплывают самые прекрасные облака».

— Птиц, — трусила я, — а он не догадается, что мы над ним издеваемся? Особенно про сторожку, про облака...

— Нет, ни за что, — равнодушно говорила Птица. — Во-первых, потому, что здесь серьезное и идиотское перемешано, а во-вторых, потому, что пупсы — все, все, все до одного — настоящие кретины.

Я недоверчиво засопела.

— Да, да. «Какие у него политические взгляды?» — больше ничего не знает.

Птица вдруг сказала то, о чем и я много думала сама.

— Скажу я тебе, Владька, вот что. Миллион раз мы с нашими об этом говорили. Ничего, ну ровнехонько ничего бы мы против этого учреждения не имели. Как сказал Козьма Прутков: «Полиция в жизни каждого государства есть». За границей то же самое... Везде так, значит, надо. Ничего бы мы не имели против них, если бы там приличные хотя бы лица были... А то — какие-то уголовные хари. Посмотрела бы ты... Кепочка, татуировочка... Нет, напишу все. Не догадается.

\* \* \*

Очень долгое время не догадывались не только пупсы, но даже я. Как это — сама не знаю. И никто мне не верит до сих пор, что я чуть ли не год ничего не подозревала: ни тетя Тамарочка, ни Дашонка, ни писатель Осетинцев, ни американский корреспондент.

Верит одна Сюся Сюрмюль. Потому что помнит, как однажды, вместе подойдя к запертой комнате Жаровых, мы вдруг увидели заткнутый почтальоном за ручку двери голубовато-белый конвертик с сине-красными кончиками. Авио! От-ту-да!

Слово «от-ту-да» было выбито Сюсей на ее собственных зубах. Потом она схватила конвертик и начала его засовывать под дверь, чтоб не увидели соседи (особенно Рафаловская).

Ходит Птичка весело  
По тропинке бедствий,  
Не предвидя от сего  
Никаких последствий...

— Владилена! — прохрипела Сюся, закончив эти, к сожалению, неизвестные мне стихи. — Учти! Если откроется, что она получает письма не на работу, а на домашний адрес, нам первым достанется, что не сообщили, куда надо...

Сюся в изнеможении села на соседский сундук.

— Ой, мне неважно, ой, мне не хорошо, — тихо запричитала она, — губит себя человек, губит, летит, как мотылек на огонь. Я уже не говорю о Тamarочке. Воображаю, какие Варфоломеевские, какие Вальпургиевы ночи переживает она, несчастная мать, каждый раз, когда видит эти конверты...

После этого случая я только слегка начала кое о чем догадываться...

. . . . .

Тупупернатс, тупупернатс,

Тупупернатс, тутс-натс, тутс-натс...

— весело напевая, торопилась куда-то эта лукавица Птица, выбрасывая ноги вперед. А о своих странных хлопотах и таинственных делах — ни слова. Я видела, что она намеренно коснеет в индивидуализме и никому ни о чем не говорит.

Сколько я ни намекала на то, что жду, как ближайшая подруга, раскрытия тайны, Птица притворялась, что она ничего не понимает.

— Сюсенька, вы что-нибудь знаете?

— А вы, Владенька, что-нибудь знаете? — Сюся обиженно отворачивалась. — Когда вам нужно спросить у портнихи, сколько она возьмет за платье, — то это делает Сюся, потому что вам «неудобно». Когда нужно умолять бандита Солоухина придти чинить счетчик — это тоже делает дурочка Сюся — она смелее. А когда дело доходит до чего-то существенного, когда совет опытного человека, прошедшего сквозь огонь и воду и медные трубы, может действительно пригодиться...

— Ну вы хоть пытались спрашивать ее об этом?

— Да пыталась, пыталась...

— Ну и что?

— Ничего. Делает улыбку Монны Лизы и молчит, как рыба об лед...

\* \* \*

В эти ужасные, замусоренные дни в Птицыной тетрадке изречений появилось еще одно:

Отказываюсь быть в бедламе нелюдей.

Из стихотворений Марины Цветаевой...

Все друзья, не говоря о просто знакомых, оставили Птицу. Они боялись.

Эмка Кукуй плакалась в трубку:

— Владь, ну что ты? Да я бы для нее всё на свете, все, что угодно. Только я боюсь. Ну разве я могу с моим пятым пунктом быть замешанной в таком деле? Мать от страха с ума сходит только потому, что мы знакомы... Ведь дядю Сеню только что реабилитировали.

На Клавку Березкину я наткнулась в кафетерии самообслуживания гостиницы «Москва». Она, вильнув подносом и задом, хотела прошмыгнуть в зал, сделав вид, что меня не заметила.

— Клавк! Не стыдно?

Чай на ее подносе бурно начал поливать соседний столик.

— Да что ты, Владь? Ведь папа еще не на пенсии, все еще в милиции работает. — Клавка начала смущенно тереть янтарь, который она носила на шее от бабеда, и трусливо заморгала короткими ресницами. — Передай Птичке, что я велела бабушке за нее в церкви молиться. Три рубля своих кровных ей на свечки дала. На всякий пожарный. Может, поможет... Чем черт не шутит.

Клавка добродушно глядела на меня своими серыми, чуть выпученными глазами.

• \* •

Как сначала заикалось Птицыно счастье, как не хотела или не могла разглядеть ее судьба.

— Судьба-индейка, сабля лиходейка, — растерянно бормотала Дашонка, — если бы кто другой, я бы и слова не сказала. Ладно, плевать, а ее жалко...

— Да замолчи ты...

— Я вот тебе дам «замолчи!» Ты кому отвечаешь? Падаль.

Это было последнее ее модное ругательство, которым она поливала кого придется, а чаще всего меня.

— Сидит, как эта... А ты бы ее вместо глупостей — чай к нам пить позвала. Вместе пусть приходят. Никого я не боюсь. Чай, скажи, вместе приходите к нам пить...

Она увидела, что я еще больше насупилась, и как-то жалко прибавила:

— Дашонка, скажи, мармаладу твоего любимого с получки возьмет. Да не дешевого, развесного, а самого лучшего, в коробке, трехслойного...

После этой благодушной перебранки мы обе ужасно плакали около получаса.

Нервы стали тоньше нейлоновой нитки.

Птицу посылали от Понтия к Пилату и от Пилата к Понтию.

Одни говорили:

— Господи, да разве это от меня зависит? Да если бы это от меня, так хоть сейчас! Ступай!

Другие крысились:

— Вы, гражданка (она сразу стала «гражданкой», а не «товарищем») Жарова, наверное, плохо отдаете себе отчет в том, что вы совершили... Хорошо, что сталинские времена прошли, а то... Если бы его закон и сейчас в силе был, то вам бы не поздоровилось. Это же равносильно измене родине...

Только кое-кто отваживался глядеть на Птицу сочувственно и так, чтоб никто больше не слышал, бросить ей слова утешения, вроде:

«Держи нос по ветру!»

«Птичка, хвост трубой!»

Многие, и среди них было порядочно ее бывших друзей, сгорали от нетерпения:

— Ну, что слышно? Заберут? Или только открытый суд чести с общественным порицанием и снятием с работы?

Птица, которая в другой ситуации и сама могла бы от семи собак отгрызться, плакала жалобными, детскими слезами.

— Птиц, Птиц, умоляю, — шептала я, — не показывай им слез, отплачься дома... Ведь не все же сволочи, ведь хорошие люди тоже есть. Вон фрау Ольга, ведь какой пост занимает, а специально мне позвонила, как узнала...

Птица с надеждой раскрывала запухшие глаза.

— Велела тебе не лаяться ни с кем, а просить и плакать по-хорошему, скромно. Советовала «самому» писать...

Я лезла из кожи, чтоб наставить Нику Жарову на путь истинный.

— Просить надо, а не требовать и не ругаться. Поклонишься и кошке в ножки, если придется. Ну Птичка, ну ангел, ну лапочка, ну притворись казанской сиротой...

— Герцог любил и умел падать в обморок? Так? — негодовала Птица.

Нет, к моему ужасу, она не хотела покупать свое счастье, расплачиваясь угодливыми льстивыми словами и гнусными обещаниями и продолжала отчаянно твердить:

— Нет, не говори, что есть хорошие люди, не говори. Они все, все мне теперь противны. Буквально все. «От» и «до».

Сидя в протертом кресле в комнате Жаровых, я, басом замоскворецкой свахи времен Островского, потрясала стены ее никогда не слыханными здесь ругательствами, из которых главным было «ядренть».

Тетя Тamarочка каждый раз несчастно вскидывалась:

— Опять!

А Сюся Сюрмюль кротко ее успокаивала:

— Тamarочка! Дорогая! Ну что же можно ожидать от внучки извозчика?

. . .

Я должна поклониться тете Тamarочке и Сюсе Сюрмюль.

Тете Тamarочке за то, что она, ну вопреки абсолютно всем моим и Птицыным предположениям, повела себя по-человечески, а не по-мещански. Она изумила нас всех и, прежде всего, свою дочь, Птицу.

Мы ожидали слез, истерик, причитаний, вроде «я говорила, нет, если бы я не говорила! Но ведь я же...» и так далее, а она ограничилась только тем, что выучила со старинной пластинки Вертинского «В пыльный маленький город» и постоянно напевала последние строки:

Татата-тататата-татата-тататата

В катафалке по городу вас повезли...

Сюся под секретом рассказала мне, что тетя Тamarочка заявила ей следующее:

— Передай моим, чтоб ни в коем случае не сжигали меня в крематории. Я боюсь. Я хочу быть рядом со своей мамой, на Пятницком.

Жертва, принесенная Сюсей, выразилась в том, что все эти несчастные три месяца она не красила себе ресниц, опасаясь, что краска, смешавшись со слезами, которые не переставая лились и лились, выжжет ей глаза.

— Ой, мне нехорошо, ой, мне немножко неважно, — меланхолически причитала она, когда мы оставались с ней вдвоем, — Владя, что делать? К кому кидаться? Как их спасти?

Отец Птицы был в это время в длительной командировке



\* \* \*

Хотя до сих пор никто из нас толком не знает, откуда пришло спасение, — я уверена, что половина дела была провернута художницей Сюсей.

— Ой, Тamarочка, — она аккуратно прикладывала распротертые ладони пониже шеи, — ты ведь знаешь — я же только модельер и имею дело большей частью с женщинами. Ой, Тamarочка! Но я буду всем говорить, всем, Тamarочка, намекать, всем у-по-ми-нать!

Она прибегала с утра, потом исчезала, звоня на Нарышкинский каждые полчаса.

— Боже мой, я еле дышу... Есть что-нибудь утешительное? Или еще нет?

Наконец она ворвалась с розовыми пылающими щеками и шепнула только одно слово:

— Выкристаллизовывается!

Это длинное слово означало то, что ее позвали — «Туда». Надо идти и работать над художественной обстановкой новой квартиры для двоюродной сестры не то Хрущевских, не то Козловских, не то Фурцевских.

— Тamarочка, успокойся. Это всё. Это почти всё. Самое главное в таком деле — это просить лично. Не волнуйся, я им там все памороки забью. Романтические истории все любят, особенно женщины, а криминального здесь я лично ничего не вижу. Тем более политического.

Кары Кадырыч Кадыров, депутат Совета национальностей, зять Фанки и муж Марианночки, энергично завертел черной арбузообразной головой.

— Буду всем говорить, что знаю ее, что девушка — вполне советский человек, что интересней ее я не видел...

Марианночка, соглашаясь с каждым словом мужа, раскачивала кудряшками.

Мордвин Иван делал по пятьдесят раз в день из бровей треугольнички:

— Это как же понять? Сначала обнадежили, а теперь издеваться? Он, значит, уезжай, а она здесь живи? Ни в коем случае, ни в коем случае... Конфликтовать надо и сигнализировать наверняка... Известное дело: снизу это кто-то командует. А узнай об этом деле большие люди — они самоуправцев тех по головке не погладят.

— Большие люди, — шипела Дашонка, — большие люди... Да пока до них-то доберешься, до твоих больших людей, все бока обдерешь себе... Не козленку с волком бодаться...

Но вот...

Ко мне на работу раздался телефонный звонок.

— Я, — баритоном заявил голос фрау Ольги. — Вот как приедешь ко мне, уж такую радостную новость тебе сообщу — умрешь, уснешь и проснешься вся в слезах... Говорила я — в три узла свяжусь, а для нее сделаю. Потому уж больно девка-то хороша...

— Ой, фраучка Ольгочка, да вы сейчас...

— Не телефонный разговор. Придешь.

— Ну хоть намекните. хоть...

— Придешь! — безжалостно прогремело в ответ.

А при личном свидании фрау Ольга сообщила мне именно ту новость, которую принес, пришедши на квартиру Жаровых, ерой Толька.

— Не плачьте, дурачки. Все будет законненько, — он снял сапоги, подошел к двери, обеими лапами как можно тише щелкнул английским замком и зашептал:

— Меня и Ольгу Ивановну вызывали. Просили Никину объективную характеристику.

— Ну?

— Сказал — законно, значит законно. Так хорошо ее обрисовали — ей и не приснится.

— Думаешь, выйдет из этого дела что-нибудь?

— А то нет? Вчера Николая Константинова, опера, видел. Говорит, что вокруг этого дела шум уже начался. Говорил я — самое главное — звону побольше. Так и вышло. Вчера в Индийском посольстве прием был. Сидят, едят, да пьют. А дочь посла индеечка молоденькая, встает, подходит к самому Хрущеву, да так прямо при всех его об этом деле и спрашивает. Почему, спрашивает, не разрешают им? Вот увидите — не сегодня-завтра...

. . .

Эта зима была совсем не такой, как мы ожидали. Говорят: жаркое лето — холодная зима. Холодная зима — жди жаркого лета. Все было наоборот. Не помню ни такого жаркого лета, ни такой теплой зимы.

. . . . .

Кто там, в малиновом берете? Кто там, в гороховом пальто?

В совсем весенний теплый январский день, как штык, с шести вечера, с самого «того» дня, я дежурю у большого серого дома с барельефом, на котором написано:

**ВСЯ НАША НАДЕЖДА ПОКОИТСЯ НА ТЕХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ САМИ СЕБЯ КОРМЯТ**

Я бываю и «здесь» и «там». То, что я делаю «здесь» — я пишу; все, что я говорю «там» — я тоже напишу.

Там я говорю вот что:

— Конечно, конечно, если что подозрительное, я сообщу. А раньше я ничего и не знала.

— Ваш отец, ведь, только что реабилитирован?

— Да я своего отца почти и не знаю совсем.

— Нет, нет, это я так. Это к данному делу не относится. Вы у нас на самом лучшем счету...

Да, я у них на самом лучшем счету, но каждый раз, когда меня вежливенько по телефону приглашают по такому-то адресу «для беседы» с некоей заскоруждой личностью (не знаю его фамилии, он очень неразборчиво ставит свою подпись) — мне становится коломитно и во всем теле начинается поджилкотрясение.

В такие вечера я еле плетусь домой...

Именно в это время, однажды, за спиной, я услышала:

— Не оборачивайся, Владя. Это я, Костя...

Но это все было уже описано в главе «МОЯ ПОДРУГА ПТИЦА».

\* \* \*

Французский солдат, переживший битву при Ватерлоо, сошел с ума. Он говорил, что в этой битве он был убит и на земле осталась только его тень. Французский солдат, убитый при Ватерлоо, — это я. Мне кажется, что моя собственная тень забегает вперед меня, смотрит в лицо, ищет меня, ищет и никак не найдет...

Положила я свое сердце в тяжелую тачку — не могу сдвинуть с места.

После того, как ТУ-104 увез Птицу — я не могу спать без сновторного.

Если засыпаю — снюсь сама себе.

То вдруг слышу:

— Есть тут хозяйвы-то, ай нет?

В окно лезет тот мужик, который в кошмарах преследовал Анну Каренину.

Я громко кричу.

— Да я не трону, не трону. Мужика-то позови, хозяйюшка, мужика своего, Якова Михайловича, ось у меня сломалась...

Я вижу себя женой своего дедушки, московского извозчика Якова Михайловича Колотушкина.

Только почему я веду разговор с ночным гостем на английском языке?

То вдруг слышу кто-то говорит:

«В долине реки Колорадо... В далекой и чуждой и страшной долине реки Колорадо... Какой черт тебя туда занес? Ты боишься меня, тебе скучно... Темнокрасный кэньон, на дне его течет серая медленная река Колорадо...»

• • •

— Помните, Владенька, у вас была такая хорошенькая подружка? Всегда вы с ней вместе ходили, как Орест и Пилад, как сиамские близнецы. С таким странным мужским именем...

— Ника Жарова?

— Да, да. Где она теперь?

Как рассказать моему старому знакомому, кинорежиссеру Ефиму Борисовичу Геллеру все о Птице, чтобы он не перебежал испуганно на другую сторону улицы или чтобы не сделал вида, что падает в обморок от удивления от того, что он уже слышал всю эту сагу, но не подозревал, что это приключилось именно с ней.

И я начинаю плести ему какую-то смешную историю, зная, что он их любит и коллекционирует.

— Во-первых, девушка с мужским именем — это я сама и есть, — оживленно начинаю трещать я. — А вот вчера зашла ко мне Марианночка, помните, с нашей старой квартиры? С ней муж ее, узбек Кары Кадырыч... Вот он долго все перебирал Никины фото, которые она мне шлет, смотрел-смотрел их да и говорит... Нет, сначала языком прищелкнул, узбеки ведь всегда щелкают языком, да и говорит, прямо при своей жене: «Нет, я наверное, здорово обрусел. Если бы я продолжал оставаться восточным человеком, то ни за что не отдал бы такую красавицу другой стране...»

• • •

Заходя на старую Птицыну работу, я издали замечаю престарелую гусыню тетю Машу, уборщицу, абсолютно умственно отсталую старуху.

— О-о-х, разокаянная, — пищит тетя Маша. — Обознатушки... Чуть сердце не замерло... О-о-ххх...

— Да что случилось?

— А то, что я на тебя подумала, что она это. Вернулась...

— Кто она?

— Да Ника. Ника Жарова. Жар-Птица. А то кто же еще?

Мы садимся на деревянный диванчик в коридоре.

— Тетя Маша, я вам пирожное принесла, хотите? Эклер?

— Нельзя, пост.

— Да ладно, возьмите. Бог простит вам.

— Ну, давай. В Загорском вот уж буду — замолю.

К тете Маше я пришла специально для того, чтобы выцедить из нее последние новости и сплетни. Каждый раз ей — то банку соленых «грибков»-маслят, то огурчиков-корнишонов с пупырышками, то маленький пакетик «какавки», которое она обожает.

Подарки, продуктовая мзда, делают тетю Машу очень разговорчивой.

— Ну Строгов-то? Осуждал? Ругал ее? Угрожал? Небось теперь за свое место трясется?

— Нет, Владь, вот я тебе скажу, — с удовольствием бормочет тетя Маша, — про себя не знаю как, а при всех не ругает. Не велели ее ругать.

— Кто не велел?

— И-эк, — говорит тетя Маша, — а то сама ты не знаешь, кто здесь кому всем что велит, а что не велит?

— Так.

— Так, да не так. Ругать, значить, не ругает, а говорит: И что это я в ней тогда на распределении нашел? Сам не знаю. И покрасивше ее, говорит, в тысячу раз девушки были. А любовь... Да какая там любовь? Конечно, просто решила она, что ей там будет лучше, чем здесь, решила она просто устроить свою жизнь. Вот и все.

— Да?

— Да, да. А ругать — не ругает. Даже вот что. Скажу я тебе. Сначала, как узнали мы про это дело, заколотились все. Со страху-то... Общее закрытое собрание собирали: мы все, Строгов и еще какие-то двое мужчин в штатском. Вот один, который из них помоложе, и говорит: не она, говорит, товарищи, виновата, а мы все. Как это мы проглядели?

— Неужели?

— Вот как перед истинным тебе — не вру. Строгов после со-

брания мне и говорит: вам, тетя Маша, тоже нужно быть бдительной! Когда делать нечего, за сотрудниками надо наблюдать, кто с кем из иностранцев долго разговаривает, кто с кем долго беседует, кто с кем еще что... А мне-то больно наплевать...

Тетя Маша выкладывает мне все необходимое.

— Да, сначала волновался Строгов. Первые дни-то... А потом... Сигнал ему был... Спокойнее стал И где, говорит, только это Жарова с ним успела? И по-французски она не очнь, у нее основной английский... А добра там все одно — никакого не выйдет... Мало ли примеров...

— Да это верно, — тяну я, — а все-таки по головке его не погладят, что именно у него в учреждении это случилось, за место все же боится, трясется...

— Нет. Чего ему бояться, трястись? Написал оправдательный документ, а мы все подписи поставили...

С детства я ненавижу свой день рождения, свое тезоименитство. Рада, если его забывают старые знакомые. Новым знакомым — не говорю. Раньше я никогда не думала о своих годах и не боялась их.

А теперь я подхожу к комоду, смотрюсь в старинное Дашонкино самое «правильное» зеркало и, вглядываясь в свое уже далеко «не то» лицо, — вздрагиваю от того, что приближается «круглая дата» и что мне уже скоро тридцать лет.

Смотрю на бывшую комсомолку-активистку тетю Машу и думаю: что будет со мною через полвека?

Закрываю глаза и вижу: черно-серый тягостный день. Церковь. Из нее выходит в рубище какая-то горбатая старуха. С мохнатыми глазами. С пучком редиски в руке.

Это я.

Тетя Маша встрепелулась.

— А японец-то тот? Сиреневый сон? Помнишь? Сюда вот каждый день со своим со с переводчиком приходил? Вспомнила ведь я одну вещь, касающую.

Она приземисто хихикнула.

— Подумаешь, в Японии! Есть и у нас под Выксой такой цветок. Только не сиреневый, а лиловый сон называется. Как понюхаешь, так в сон тебя. Окли речек растет. А сам-то цвет этот маленький, да такой из себя некрасивый... Глядеть не на что... Один дух от него.. Один сон...

## Глава VII

## ЛИЦО ЖАР-ПТИЦЫ

...еще только октябрь, а все дни сейчас у нас дождь и снег. И к душе подбирается что-то такое, чему еще рано подходить. Хочу остановить, затормозить все это, хочу безмятежности и никак не пойму, что это за тяжесть такая навалилась на мой загривок?

Я все больше и больше уверяюсь в том, что жизнь уже почти прошла. Если бы мне предложили умереть, чтобы вскоре родиться вновь — я бы с радостью согласилась. Я разучилась улыбаться, смеяться над шуточками Аркадия Райкина и день ото дня становлюсь все мрачнее, словно сердце мое ничему не радуется.

— Ишшь, товарищ Неулыба, — шипит Дашонка, соевя у телевизора.

Давным-давно я знаю, что мне нужно пойти к психиатру. Нужно. Необходимо. Потому что, во-первых, я начала чувствовать свои мозги, во-вторых — ощущать, как у меня отрываются кусочки сердца, а, в-третьих, — мечтать о ручном льве в пустыне...

Дашонке, за ее верную и преданную работу в поликлинике М. К. в течение тридцати лет, не откажут в просьбе: покажут ее племянницу хорошему врачу, а потом положат в Кремлевку, в отделение для «чокнутых». Я не боюсь, а даже хочу этого: там лучше. Тише.

Объяснить, отчего это со мной случилось, я могу. Когда я начала замечать «это» за собой, — я помню. Знаю лучше всех врачей, что признаки того, что я — кандидат в «дурдом», то-есть к Кащенко, на Канатчикову или в Матросскую тишину — у меня явно есть.

Они такие.

В этом году я сбила порядочно денег и решила в июне в счет отпуска съездить на пять деньков к знакомым в Ленинград. Развлечься неизвестно чем и отвлечься непонятно от чего. И вот однажды там я пошла...

...сначала в Михайловский сад. Был редкой силы дождь-косохлест, стеной, и в саду никого не было. Ни одной, ни единственной души, кроме меня. Я села на скамью в аллею, недалеко от огромных цветущих кустов персидской сирени, под старый клен. Так сидела под зонтом три часа (по часам!) и слушала дождь...

Потом встала (ливень перестал) и побрела в Летний сад. Зашла в бывший Чайный домик, в нем теперь столовая. Съела одно

второе и стащила четыре куска черного хлеба, чтобы покормить сумасшедших воробьев. И вот вышла, стою и кормлю их... Вдруг подняла голову, увидела, что я около статуи богини Милосердия и что на носу у нее, на самом кончике, как у древних, выживших уже из ума профессоров — большая грустная капля дождя...

Потом позвонила Шурочке, старой знакомой из Театрального музея, и с ней долго сидела в кафе «Лакомка». Там чудесно: так культурно, мирно...

Вот сидим, болтаем. Шурочка рассказывала последние сплетни об общих знакомых, и я настолько увлеклась, что забыла даже подумать о том, хватит ли мне заплатить за нас двоих и сколько здесь полагается оставить «на чай».

Так как будто всё было очень хорошо. Нормально.

И вдруг... Я вспомнила богиню Милосердия с каплей дождя на носу.

Я не могу сказать, что «не помню, что со мной было». Я не кисейная барышня, мне врать такие вещи нельзя. Все прекрасно помню. Я сидела и хохотала смешным женским больным басом на все кафе. Потом рыдала, повторяя, что плачу оттого, что стыдно за смех перед этим. И все подсакивала на стуле, пытаюсь увидеть свое отражение в зеркале, и видела себя, похожую на молодую веселую лошадь, победившую на скачках.

Утром Шурочка несколько раз звонила с работы Августе Ивановне и спрашивала, как я себя чувствую.

Правда, недавно, в мае, меня подлечило посещение французской труппы под управлением Жана Луи Барро. Я видела несколько спектаклей, таких простых, чистых и глубоких. Музыка декламации довела меня до слез... Да, и кроме того. Самое главное: был у нас в СССР третий раз Ван Клайберн. Он так изменился! Какой трагический у него Шопен, — такого я слышала впервые. Вообще, становясь все более наблюдательной, я пришла к выводу, что если человек — не подлец и не карьерист, то у него к тридцати годам — другое лицо. И я рада не столько оттого, что слышала Ванечку, сколько от того, что видела его лицо.

Но вообще спокойствие духа бывает так редко! Чувствую, что долго в таком состоянии мне не протянуть, потому что постоянно в сердце — игла, а в мозгах — штепсель. Зачем я себя так грызу? Я не знаю. И начинаю думать, что пошлое «изречение», говорящее о том, что жизнь напоминает удава, медленно затягивающего своими петлями жертву — совершенно правильно.



«Зима тревоги нашей» Стейнбека и «Над пропастью во ржи» Сэллинджера — прелесть...

Все вышеизложенное было написано точь-в-точь так, а не иначе, в письме, адресованном «Мадам Жорж Фурниаль, Нейи сюр Сэйн 9, Париж, Франция».

В постскриптуме же было сказано:

*Если можешь — достань мне вязаную кофту-жакет с отложным воротником и большими накладными карманами. Белую или голубую. Конечно, я могу и без кофты, но ведь хочется повоображать. Вообще я стала более прозаическая и боюсь, что ты теперь меня разлюбишь...*

\* \* \*

Ко всему вышенаписанному в письме я могу кое-что добавить. Немножко набросать пунктиром кое-что для того, чтобы через сто лет, когда раскопают эту рукопись — многое из забытого, несказанного, ненаписанного и полудописанного могло бы быть восстановлено.

Легкой иноходью пробежусь по клавиатуре мыслей и событий.

Во-первых: откуда, как, с чего и с какого времени началось это апухтинское «мление грусти»?

С пятидесятого года, когда у нас в Москве начали показывать франко-итальянские картины.

По три часа стояли мы с Птицей и Эмкой по очереди за билетами в «Колизей» и «Центральный» на «Рим в 11 часов», «У стен Малапаги», на «Адрес неизвестен»...

Эти картины совсем изменили нас. До этого мы были девочки, как девочки. Хохотушки. Три-пачки, три-щетки — так называли нас все, включая учителей, в школе. Радость во всех ее видах так и выскакивала из наших глаз. Мне в десятом классе за разговорчики и вечные подсказки на уроках глухой исторички Рахиль Моисеевны снизили по дисциплине. Птицу — за хулиганские песенки на мотивы фуг Баха, сочиненные ею самой, — срамили на комсомольском собрании. Всегда у нас было хорошее настроение, веселые лица, сияющие глаза. А уж щеки! Особенно мои. Кто-то сравнил их с розовым мрамором. О щеки можно было прикуривать. Казалось, что всю жизнь будет так, как заявила Птица, когда ей было двенадцать лет: «Девочки, я не хочу вырасти большой. Не хочу быть взрослой, — сказала она. — Как было бы хорошо, если бы все всегда оставалось так, как теперь».

Но не тут-то было.

После картины «Красное и Черное» с Жераром Филиппом у нас начал изменяться почерк, и мы погрузились в постоянно-кислое настроение.

Птица у общего телефона в коридоре своей квартиры почти не снимала записку: «НИКИ НЕТ ДОМА».

Тамарочка робко входила в комнату и говорила:

— Никаша, он клянется, что не будет тебя никуда звать, только поговорит по телефону и всё...

— Нет, скажи, что нет дома.

Мы сами чувствовали, что начинаем серьезно меняться. И удивляли друг друга каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение.

«В фаворе у меня все время был «Кремль», но сейчас мне больше нравится «Сказка», — писала мне из Ленинграда Эмка на мой вопрос о том, какие духи у нее теперь в «фаворе». — «Белую сирень» я не люблю: ты же знаешь, что мне нравятся духи, пахнувшие неизвестно чем, а они пахнут настоящей сиренью...»

Все должно было отныне пахнуть «неизвестно чем». Ничто не должно было иметь ни начала, ни конца, ни света, ни яркой краски. Ни громкого звука. Какое счастье, что тогда еще не было картины «Хирошима, любовь моя» и «Завтра моя очередь».

Птица начиталась Есенина и ходила, как пьяная.

Я призналась одному своему знакомому, восьмидесятилетнему старику Исидору, что последний раз была влюблена три года тому назад.

— Что вы, что вы, Владенька, в вашем возрасте это ненормально, вам лечиться нужно!

И тут же заявил, что я — единственная отрада его жизни и что он бы хотел,... то-есть было бы неплохо, если бы я, то-есть он...

— Да в чем дело-то? Окончательно?

Окончательно оказалось то, что он бы хотел приехать ко мне в гости.

— Боже мой! Да приезжайте! Со своей Фаиной Адольфовной! Поставлю тесто, спеку...

— О нет! Ннн-еее-ттт, — мой престарелый итальянец сладострастно причмокнул, как будто бы он уже отведал моего пирога с капустой.

— Что такое?

— Я хотел бы приехать... ммм...соло...

Этому селадончику, как я уже сказала — восемьдесят лет, и давным-давно его на том свете с фонарями ищут...

Все мы, три подруги — Птица, Кукуня и я — потеряли «нить в жизни».

Однажды я по дороге с работы зашла к Эмке, но ее не оказалось дома. Воспользовавшись этим, Яшка мне с удовольствием сообщил, что на днях он двенадцать минут подслушивал разговор Птицы и своей сестры за шкафом и что будто бы Птица сказала: «Чувствую, что умираю. Тоска задушила. А Владька счастливая! Уже пришла в себя. Простейшее...»

\* \* \*

Кто-то правильно заметил: русская жизнь, — что овсяный кисель. Проведи ложкой — борозда осталась, а через секунду — все опять гладко. Я тоже такая же. Я резиновая. Нажмите меня — поддаюсь, а потом мгновенно принимаю ту же форму.

Когда ТУ-104 увез мою Птицу — от меня словно отрубили половину.

Она ушла от меня навсегда, но... не умирать же из-за этого?

Мне тоже нужно продолжать свой путь.

Короче — я пришла в себя.

Анна Давыдовна Кукуй ошиблась. Мы все трое вышли замуж: и Птица, и Эмка, и я.

Анна Давыдовна постоянно твердит нам о том, что все, что она пророчит и проповедует, «нужно золотыми буквами писать на стене».

Но на этот раз она ошиблась, и все ее пророчества оказались никуда не годными, а права оказалась ее трехэтажноносая дочь, а наша любимая подруга Эмка, которая в девятом классе заявила:

— А вот давай на спор! А вот увидишь — я выйду замуж за Ларика Турецкого, ты — за какого-нибудь войняшку или инженера, а наша Птичка — или за самого красивого артиста или за иностранца!

\* \* \*

Полгода тому назад я решила, наконец-то, выйти замуж за Геннадия Тиунова.

Я замучилась. Покою не стало от подруг и знакомых. Шурочка в каждом письме из Ленинграда насилывала: «Нет ли перемен в жизни?» Московские знакомые, школьные и институтские подруги, встречая меня, ехидно мигали глазами и задавали один и тот же вопрос:

— Ну как, замуж еще не вышла?

Если разговор был почти серьезным, я, как могла, всем давала понять, что замуж пока не собираюсь, так как мой принц под Алыми парусами где-то страшно застрял в пути.

Если не серьезный — пицала, что мой картофелеобразный нос, кажется, влияет на мою популярность среди мужчин в самом отрицательном смысле.

Не стало никаких сил, и поэтому я и решилась, — а то и вправду подумают, что меня никто не берет.

Кроме того, вот уже несколько лет, покою не было от Дашонки.

Весь последний год она в каждом подходящем случае шипела:

— Сидишь? Ну сиди, сиди... Досидишься. Вон как третий-то десяток начнешь распечатывать, спохватишься, да уж поздно... Кому ты нужна будешь, старая дева?

Догадавшись «по ходу действия», что на днях я собираюсь объявить ей о своем предстоящем «сочетании узами Гименея» с Геннадием Петровичем Туиновым, она решила опередить события.

И вот однажды вечером как-то хмуро сморщилась и начала:

— Владь, а Владь! Так ты решила за этого, что ли?

— За этого. Ну решила. А что?

— А то, что дура, вот что. — Дашонка посмотрела на меня, как мышь на высотное здание.

Я заклокотала, но старалась казаться равнодушной.

— Вот те и здрасти-пожалуста! То приставала — замуж да замуж, а то... Чем же это он тебе не нравится?

— А тем, что на мышь заблудшую похож, — вот чем...

С Геннадием еще давно, при Птице, я познакомилась через Сюзю Сюрмюль. Он — из Новосибирска, кончил в Ленинграде Институт механики и оптики, а теперь работает в Москве в Разноимпорте на Каляевской и живет там же, недалеко, в чудесном доме, на Новослободской. В одной квартире с ним жила и Сюсина подруга детства, Зинуха Ножкина, которая узнала от Геннадия, что он давно ищет себе невесту, — девушку современную, интеллигентную, с широкими «теперешними» взглядами на жизнь. Зинуха немного удивилась, почему ему непременно нужно жениться, если он хочет современную девушку.

— С теперешними можно так...

Нет, нет. «Так» — ни в коем случае. Он работает в Раз-

ноимпорте, — каждую минуту могут отправить за границу. Неженатых за кордон не пускают, — это раз. Второе — отцу дали недавно новое назначение. Он теперь секретарь обкома. Третье — все эти «так» вообще не для него. Всегда был и будет честным комсомольцем, честным партийцем и честным человеком.

— С этим ты пиво сваришь, — с удовольствием хохотала Сюся.

И правда. Сварила!

Сюся узнавала через Зинуху все новости и тогда, когда мы с Геннадием только еще «встречались» и «вместе проводили время», часто специально вызывала меня к Жаровым, для передачи последних известий. Последние известия передавались мне тогда, когда в гости к моему молодому человеку приезжала из Сибири мать. Под предлогом того, что ей необходимо купить в Москве некоторые остро дефицитные вещи, а на самом деле разнюхать, — что и как у Геночки.

— Только ты на нее особенно внимания не обращай, — говорила мне Сюся. — Если расстроишься — дурой будешь. Вот она Зинухе и говорит: «Сама-то эта девушка еще ничего...» — Сюся покосилась: какое впечатление? — Ты не обижаешься? Да, говорит, девушка сама по себе ничего. То-есть я думаю, что она ничего. А там — кто ее знает. Способная, все-таки... Попасть у нас в аспирантуру гуманитарного института — это не шуточка...

Сюся осторожно хихикнула и продолжала:

— Ну уж, а тетка эта ее, говорит, эта знаменитая Даша... Она, пожалуй, на свадьбу, если они захотят устраивать, будет сардельки отваривать...

Почувствовав, что я готова начать поливать свою будущую мамашу «какими только угодно», Сюся оседала:

— Да ну ее... Не обращай внимания. Псишка какая-то. Когда приезжает, то Зинуха говорит, что на кухню невозможно выйти: все четыре конфорки на плите занимает. А вообще ты плюй и не расстраивайся, — жизнь слишком коротка, чтоб тратить ее на угождение свекрови...

Умиравшей от любопытства Анне Давыдовне (за кого же, в конце концов, твоя подруга Владя Колотушкина выходит замуж? Что это за манера делать из всего секрет?) Эмка недовольно доложила:

— Ну за инженера! Тебе везде мерещатся секреты...

— «Ну за инженера!» Что это за ответ? Да разве этого достаточно?

Эмка помучила ее несколько секунд и присовокупила самое главное:

— Внешне довольно интересный, но лицо немного полноватое.

За неделю до того, как нам идти подавать заявление в загс, я решилась:

— Гена, знаешь, я должна тебя предупредить. Отец хоть и реабилитирован, но все-таки он находился в заключении. Пятно. Как бы тебе это не повредило.

— Нет, нет, это ничего, — скоренько сказал мой жених. — Таких случаев теперь хоть пруд пруди. Наоборот, пострадавшим и их детям теперь везде идут навстречу, дают льготы, компенсации. Ты по себе знаешь... Комнату новую тебе ведь не за прекрасные глаза дали...

Он помолчал, а потом вдруг просто сказал:

— Ты думаешь, мой отец не сидел?

Я радостно встрепенулась.

— Восемь месяцев сидел в 38-ом году, — равнодушно объяснил он. — Мало ли что бывает в сложной политобстановке? А если хочешь знать, то я даже и теперь не верю, чтоб страдали тогда так-то уж совсем безвинно... Мало ли что сейчас говорят. Это тоже политика.

Я подумала: как я хорошо начинаю разбираться в том, что происходит, когда Геннадий начинает мне объяснять. А самой мне трудно чего-нибудь достичь — логика отсутствует...

Хотя я была вполне на стороне Сергея Татищева, когда он сказал Гале Долговой:

— Галя, я тебя люблю и всегда буду любить. Но я не могу жениться. Мне нужна девушка с чистой биографией. Если бы твой отец был только сослан, если бы был реабилитирован, как все теперь... Ну тогда еще... А то — расстрелян! Значит, что-то серьезное. И себе карьеру испорчу и твоя жизнь пропадет. Войди в мое положение.

Она вошла и в его и в свое положение. Помню, как мы носили ей какие-то тряпочки для распашонок...

А некоторое время спустя, поздней весной, в 3 часа 16 минут ночи, Галю Долгову нашли у Москвы-реки, за Мало-Каменным мостом, у Стрелки.

Она хотела топить...

\* \* \*

Да, отец... Я редко вижусь с ним. Он с братом Арленом, который называет себя теперь Ленькой, Леонидом, живет под Москвой, в Александрове.

Брата Арлена-Леонида я ненавижу. Он вор и хулиган. Все эти годы я видела его от случая к случаю.

После выхода из детдома он работал где-то за Уралом, потом служил в армии в Московском военном округе, и за высокую, импозантную фигуру и красоту его даже ставили в караул у Спасских ворот Кремля и у Мавзолея. Мы с Птицей и Эмкой бегали смотреть. После армии он плавал матросом на рыболовецком траулере в Калининграде, а потом заявился в Москву, к нам с Дашонкой. Привел какую-то бабу с девочкой десяти лет. Женился! Брак был, конечно, «морганатический», так как со своей пассией Ленька не регистрировался.

— Прописывай, а то расшибу до полушки, — так рычал он, пьяный и вонючий, набрасываясь на меня и Дашонку, — всю рожу растворожу, если моего заявления не подпишите!

В заявлении Ленька указывал, что Дашонка и я согласны прописать его, как ближайшего родственника, на наших метрах. Тетка уже струсилась, хотела было согласиться, но тут я сказала свое категорическое «нет».

На следующий день братец пришел пьянее пьяного, поставил мне два синяка во всю правую половину лица (я потом всем говорила, что упала на катке), стащил у Дашонки из сундука три с половиной метра креп-фая и исчез.

Мы выгнали бабу с девочкой, собрали подписи соседей-свидетелей и отнесли на Леньку заявление в милицию, с просьбой оградить нас от хулигана.

Потом время от времени он появлялся на Солянке (это еще было там.) Бил стекла в нашем полуподвале, оставлял открытым кран, чтобы нас затопило, и напускал полное помещение голубей, чтоб они загадили нам всю комнату.

Его визиты были в мое и Дашонкино отсутствие, но соседка тетя Дуся нам каждый раз передавала, что он грозился меня убить.

— Лично про тебя молчал, — печально говорила она Дашонке, — а сестру, гыть, учти, так и так, — все равно зарежу...

— А под расстрел пойдешь, тогда как?

— Ххх... под расстрел. Тоже испугала! Под расстрел только евреев-фарцовщиков подводят. А наше дело такое — убил, огра-

бил, посидел пять лет, а то и меньше, а потом амнистия!

Как я рада, что недавно опять ввели за убийство смертную казнь.

. . .

Как-то проходя по улице вдоль Чистых прудов, я увидела высокую фигуру брата. Он что-то читал, остановившись у стены старинного желтого дома. Я подождала, пока он уйдет, потом подошла посмотреть, что он читал. Это был стенд — «Объявления о найме рабочей силы».

Ленька искал места, он хотел работать!

Работать для того, чтобы нормально жениться, получить комнату, ездить летом по воскресеньям на футбол, а зимой на канадский хоккей.

Работать для того, чтобы пропивать получку. Чтобы быть у соседей на хорошем счету. Чтобы никто не мог упрекнуть его в том, что он, в двадцать семь лет, гоняет по крышам голубей и ворует все, к чему не лень протянуть руку.

Я рассказала Дашонке, что видела брата. Она тогда не спала всю ночь. Провздыхала, провертелась несчастно с боку на бок.

Я тоже встала с иголками в глазах. Все думала о разном. О том, как однажды, когда я еще в институте чего-то никак не могла понять по политэкономии капитализма — Ленька лучше всех учебников объяснил мне, что такое «прибавочная стоимость» и «налог с оборота».

. . .

Теперь мой брат Арлен («Армия Ленина») живет с отцом в Александрове. Отец работает библиотекарем в клубе, Ленька — на заводе.

Отец изредка пишет, больше о том, как устроились, как живут. К нему там многие хорошо относятся, жалеют его. Брат ведет себя — как когда. То — «познакомился с девушкой из замечательной семьи. Отец партийный, сама и сестра — комсомолки...», то напивается пьяный, лезет к отцу драться и орет: «Ты мне своей автобиографией всю анкету испортил...»

Ну, за последнее-то я его не осуждаю. Так думают все. Хорошенькая дочь знаменитой арестованной в 1949 году за связь с иностранцами киноактрисы ненавидит мать за то, что та ей подложила «такую свинью». Сын известного генерала-власовца, повешенного вместе со своим командиром, слышать не может упоминания об отце:



— Мало того, что сам подлецом оказался. Мать погубил, — только недавно разрешили из Шарьи этой несчастной в Москву вернуться. Хорошо, что на моей карьере это почти не отразилось...

Прав Ленька. Правы они. И все другие, кто так думает, правы. Подложили нам отцы наши большую свинью...

Я и сама смутно помню, как, когда мне было около восьми лет, Дашонка водила меня куда-то на Пушечную, где меня раздевали, вертели, измеряли руки и ноги... Заставляли петь, подпевать, кружиться...

Потом, когда я уже выросла, Дашонка сказала, что она тогда водила меня в балетную школу Большого Театра. Ей посоветовал это сделать приезжий артист из Свердловска, который увидел, какие акробатические штуки я выделываю во дворе на нижних ступеньках нашей пожарной лестницы.

— И все начальники там в один голос тогда сказали: «Самая первая кандидатура — ваша племянница: и музыкальные способности блестящие, и богатейшая фактура... Физические данные прямо изумительные...»

— Так почему, почему же не взяли? — задыхаюсь я.

— Почему! Дурочка ты, что ли?

Меня не взяли в балетную школу из-за отца.

\* \* \*

Но это не страшно. Музыкальные способности мои продолжали развиваться. Я научилась сначала «с рук» Дашонки, а потом по нотам на вечернем отделении для взрослых музыкальной школы нашего района играть на гитаре-семиструнке и меня даже послали на конкурс гитаристов-любителей, где я оторвала поощрительную третью премию за исполнение русской народной песни «Вспомни, вспомни» в переложении Сихры. Когда-то я пристаивала к Птице, чтобы она научила меня играть на пианино «ну хоть одним пальчиком!», а теперь роли переменились: она житья мне не давала — все просила показать ей хотя бы несколько аккордов, аккомпанировать двоюродному брату Котьке его любимый цыганский романс «Чайная роза».

А мои «физические и внешние данные»?

Когда теперь я с кем-нибудь, кто меня знал с пяти лет, вспоминаю о своем детстве, то обычно начинаю разговор так:

— Помните, какая я маленькая была страхолюдина?

Собеседник смотрит мне в самые глаза, усмехается и говорит, что я нарочно, из каких-то одной мне известных соображений,

всю жизнь принижая себя и что это становится просто противным.

Только нянечка Катя принимает мою змеиную хитрость за чистую монету:

— Да что вы, Владенька! Это вы-то были страхолюдненькие? Да вы ничуть не хуже нашей Никочки были. Гости всегда вами любовались, такие вы были складненькие, да веселенькие. С лица никогда улыбка не сходила. Только уж вот больно вы были милиатюренькие...

А когда мы переехали на новую квартиру, я подслушала один разговор, который раз и навсегда положил конец тому, что я сокращала свою жизнь завистью хорошенькому личику моей подруги Птицы.

Разговор происходил в кухне между нашей новой соседкой, стоматологом Евгенией Юрьевной и моей Дашонкой.

— Знаете, Дарья Федоровна, я на вашу племянницу Владю прямо налюбоваться не могу, — говорила Евгения Юрьевна, — в поликлинике всем уши о ней прожужжала. И в кого это она у вас такая? Ну прямо артистическая наружность. Вторая Дина Дурбин.

— Все бы ничего, Евдень Юрьевна, — радостно прохрипела Дашонка, — да уж больно во-о-льная она...

. . . . .

Артистическая наружность? Дина Дурбин?

Ах... ах...

Вот уже лет пять или шесть, как я к этому совершенно равнодушна.

На третьем курсе института со мною произошло интересное событие.

Однажды в вестибюле ко мне подошел высокий мужчина в очень тогда модном болгарском тулупе.

Он предложил мне (все это слышали, я шла с девочками из нашей группы), оставить институт и перейти в экспериментальную балетную группу Большого Театра. Эта группа будет вся состоять из лиц, старше двадцати лет. Пересмотрел сотни людей. Остановился пока на трех. Вы не хотели бы? Я видел вас на занятиях художественной гимнастики и поразился... Давайте рискнем? Посмотрим, что выйдет... У вас редчайшая, богатейшая фактура и исключительные способности.

Ну... я отказалась, и равнодушно, потому что в то время меня

гораздо больше стала интересоваться библиотека Ивана Грозного и ее поиски в подземельях Кремля.

Но... «у вас богатейшая фактура...» Каким знакомым показалось мне это выражение!

Дашонка прекрасно помнила имя и фамилию «начальника», хвалившего мои «физические данные» и побоявшегося меня, восьмилетнего ребенка, принять в балетную школу из-за отца...

Высокий красивый мужчина, который в вестибюле Московского Историко-Архивного Института дал мне свое имя, отчество и фамилию, а также номера своего телефона, домашнего и служебного, и тот «начальник» из детской балетной школы Большого Театра — были одно и то же лицо...

Здесь я ставлю эмоциональное многоточие, которое я вообще очень люблю.

Совсем не затем, чтоб выразить в нем свое горе по поводу утраченной возможности блистать на сцене Большого Театра. Скорее, — да, именно скорее — наоборот.

Когда мне было шестнадцать лет — я обожала Райку Стручкову. Какая удобная была у нее фамилия, чтобы кричать после спектакля: «Струч-ко-ва-ааа!»

В девятнадцать лет — даже несколько более бурно — я была страстной поклонницей Майки Плисецкой. Вот когда я ругала отца, испортившего мне жизнь и возможную блестящую судьбу!

Теперь же мне безразличны, глубоко безразличны и Райка и Майка, и даже Галина Уланова.

Актрисой быть страшно — особенно балериной.

Вот умерла недавно Гельцер. Она лежала в гробу старая, желтая, а над гробом — ее прелестный портрет в молодости. Тут же вспомнился Всеволод Аксенов, скончавшийся внезапно года два тому назад от третьего инфаркта. Лицо, как он просил, было закрыто тонкой кисеей, а рядом лежала вылепленная маска его головы в молодости. Театрально, но в стиле всей его жизни...

Как все это ужасно, и какое счастье, что я не стала актрисой.

И хорошо, очень хорошо, что отец «испортил» мне жизнь.

Но все-таки на моих свадьбах его не было.

\* \* \*

Да, на «свадьбах», потому что у меня было две свадьбы.

Первая — для матери мужа и наших с Геннадием общих знакомых и сослуживцев. С венгерским «Токаем», салатом «Майонез», бужениной, заливной осетриной и черной икрой — все доставлено из отдела «Стол заказов» ГУМа.

На этой свадьбе номер один Дашонка сидела по правую руку от моей свекрухи Любви Иннокентьевны и подтаивала от волнения.

Слушали заграничные пластинки, какой-то невыносимый джаз. Пытались танцевать «липси».

Вторая свадьба была через день после первой, для наших общих знакомых попроще: ероя Тольки, мордвина Ивана, его жены Ульяши, няни Кати, Лели Сизовой, Нasti Тюриной... и так далее (и тому подобное).

На этой свадьбе была водка «Белая головка», винегрет и колбаса ветчинно-рубленая.

На эту свадьбу номер два я даже разрешила Ивану привести его дружка, слесаря Иллариона, если он даст слово, что «безобразия никакого не будет».

Слово слесарь Илларион сдержал. Уходя, он нежно пожимал Геннадия руку и бормотал, подпрыгивая на половике:

— Извините за компанию!

После водки, под аккомпанемент двух гитар, Дашонки Горячевой и Ивана Мордвинова, Леля с Настей пели душераздирающий романс: «Разбудил меня стон в эту бурную ночь», а остальная публика отплясывала «под-испанец-хорошенький танец», — парами. И расстояние между кавалером и дамой было в один метр.

Ульяша, жена Ивана, радостно выскакивала в коридор звонить какой-то своей подруге Фроське Звонаревой и, подтягивая сползающие подвязки, бодро голосила:

— Дарья сроду и не мечтала такого парня для своей Владьки! Вот парень, так парень! Не пьеть, не курить, по специальности монтер!

В это время монтер (он же мой муж Геннадий) вежливо танцевал в паре с Лелей Сизовой. Он уже три раза менял перегоравшие пробки в нашей новой квартире, — отсюда сообразительная молодчина Ульяша сделала заключение о его профессии.

Вообще Геннадий вел себя идеально и первый и второй раз.

Остальные гости из моих знакомых, о которых я не упомянула, разделились так:

Конечно, Эмка была на обеих свадьбах.

Тетя Тамарочка, художница Сюся, Анна Давыдовна, старик Исидор с женой и Евгения Юрьевна — веселились на первой.

Фрау Ольга — на второй.

\* \* \*

Началась совместная жизнь.

Как-то в мое отсутствие свекровь, эта прекрасная Иннокентьевна, переставила в нашей комнате мебель. Через день, в ее отсутствие, я опять все поставила по-своему.

На ее замечание о том, что Пушкин, конечно, был исключительно интеллектуальным человеком и что каждый раз, когда она проходит мимо его памятника, ей хочется упасть ниц на мостовую и лежать, лежать... я злобно, громко и нахально фыркнула.

Когда она интеллигентным голоском спросила: «В чем дело?» — я медленно (так, чтобы она поняла, что я вру) сказала, что вспомнила смешной случай на работе...

Пробегая ночью в уборную через нашу комнату, она каждый раз говорит:

— Дети, я не смотрю... Зрение никуда.

И уже из этого заведения приглушенно доносится:

— Господи, и когда это я к глазнику соберусь за очками...

Совершенно точно знаю от Зинухи Ножкиной, что днем, в наше с Генкой отсутствие, она покупает себе ветчину и поглащает ее с калорийными булочками, а вечером, когда мы все садимся обедать и я говорю, что жалею ее потому, что самое трудное, — это доставать продукты и готовить, она закатывает глазки и томно стонет:

— Ради Бога, ешьте. Ну какой там труд? Все для вас ведь... А я? Господи, ну сколько я ем?

Принесчастнится и нальет себе ровно в три раза меньше, чем мне и сыну.

Непрестанно повторяет, что она не собирается молодиться, так как годы не скроешь, и что она уже больше решила не пудриться.

Как-то прибежала из кино.

— Ходила смотреть американский фильм «Марти», который в порядке культурного обмена. Ах, какая прелесть...

В чем «прелесть» — не говорит. Заинтриговывает, хочет, чтобы я спросила первая.

— ?

— Там точь-в-точь так же, как и у нас. Родители с детьми и там ужиться не могут. Это верно, верно. Я и сама на все сто процентов за то, чтобы жить отдельно. Скоро уж, скоро уеду домой и освобожу вас...

• • •

Если говорить честно — она мне ничего плохого не сделала. Ветчину она покупает и ест отдельно от нас... Ну и что же? Что это я так взбуктенилась? Ведь ветчину она покупает на свои? Да, на свои. А потом нарочно ест за столом меньше, чтобы показать, что она никогда не будет нам обузой.

Перед памятником Пушкина она хочет «падать ниц и лежать, лежать...» Но она же — это второе, неисправленное издание Сюси Сюрмюль, которая вечно повторяет, что ее мать кончила гимназию с французским языком и называет артистов Художественного театра — художниками. Ну что с них взять? Простосплетенные, пустопорожние создания...

Одно время по три раза в день, все она же, Любовь Иннокентьевна, рассказывала нам с нежным хихиканьем о том, что муж ей всегда привозит из командировки подарки. Каждый раз белье. Каждый раз зеленого цвета. Каждый раз 42-ой номер. А у нее — 36-ой!

Генка подумал, что она намекает, и принес ей чудесную капроновую кофточку из магазина «Подарки». Я надулась. А вечером она, чуть не плача, совала эту кофточку мне, уверяя, что ее не поняли, что рассказывала она о зеленом белье нарочно, чтобы приучить Геночку относиться к жене не по-свински, то есть по-современному, а по-старинному.

Я ей верю, но злюсь, что она всех поучает, всем надоедает, во все ввинчивается...

• • • • •

— Ну, это уж вы, Владенька, напрасно, — говорит мне зубной врач Евгения Юрьевна на нашей новой квартире, где теперь одна блаженствует Дашонка, — уж если он сын хороший, то значит, что и муж будет хороший. Это уж закон. Напрасно вы, напрасно...

— Она меня раздражает уже только тем, что живет почти в одной комнате со мной, — говорю я со слезой в голосе.

— Ну, конечно. Но знаете, почему? Потому что досталась вам в свекрови, слава Богу, хорошая, добрая женщина. Ну, ясно, вы недовольны, везде ищите недостатки. А вот налетите вы на Кабаниху...

• • • • •

И Сюся Сюрмюль точно такого же мнения. Однажды, через три недели после свадьбы номер один, я с измученным лицом ввалилась в уютную квартиру, где еще совсем недавно жила Птица Жарова. Минут пять не могла достучаться: Тamarочка и Сюся

пили чай с московскими хлебцами (когда-то они назывались «турецкими», но в кампанию против безродных космополитов были переименованы в «московские»).

По случаю чаепития дверь была крепко заперта: Сюся и Тамарочка боялись, что в разгар пиршества ворвется Рафаловская и потом будет везде звонить, что у Жаровых в будний день жрут пирожные.

Потом Сюся села за рояль и стала бешено наигрывать «эмпром-тю» Шуберта. В этот момент я условным стуком забарабанила в дверь.

Они радостно душили меня в объятиях, а после этого я сразу приступила к делу: начала рассказывать о том, как я несчастна, как мне ужасно живется и как я себя грызу за то и за это...

Тетя Тамарочка уже собиралась начать рыдания. И вдруг Сюся трагически протянула руку вперед и, завывая, начала следующий монолог:

— Ну, конечно, она недовольна. Ну, конечно, она себя грызет. Как? Почему? — вопрос. Ответ: у нее плохой муж. Почему плохой? По следующим причинам.

Сюся начала загибать один за другим свои всегда идеально наманикюренные пальчики:

— Он ни разу не назвал ее дурой. Раз. Он никогда, даже мысленно, не послал ее к чертовой бабушке, хотя она этого вполне заслуживает. Это два. Не смотрит пока на чужих женщин, любит ее, любит свою мать. Это три. Одним словом, молодой человек целиком и полностью не из мира сего. Возможно даже, что он, как один из самых способных, будет послан за границу, в Каир или Индию, и эта холера поедет с ним, всем нам на зависть...

Сюся вобрала в свои легкие еще литр воздуха, чтобы продолжать тираду, но тут ее перебил радостный вопль тети Тамарочки:

— Сюська! Ой, Сюсенька! Я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать. Значит так: если бы у нее мужем был Митька-водопроводчик (что при других обстоятельствах было бы вполне вероятно), который бы напивался три раза в неделю, который бы колотил ее смертным боем и таскал за волосы, который бы бегал от нее к другим девкам... то...

Тетя Тамарочка приставила большие пальцы к вискам и подрыгала остальными (жест этот от нее в малейших деталях передался Птице: они обе так делали, когда хотели показать, что не в силах больше продолжать разговор), — вот тогда бы! Вот тогда бы она была безумно счастлива!

Я хорошо помню, что в своей не очень пока еще длинной жизни я только три раза хохотала до того, что казалось: еще мгновение, и лопнет что-то в животе. Два раза — давно, в Художественном Театре, над Поповой-Марго в «Глубокой разведке», и над Комиссаровым-Керубино в «Женитьбе Фигаро». Третий раз над чем-то совсем не смешным на лекции в институте.

А четвертый раз теперь, над высказываниями тети Тamarочки и художницы Сюси Сюрмюль.

Они правы. Мой Геннадий, — прекрасный молодой человек, не «из» мира сего.

И Иннокентьевна совсем не так уж плоха, как я ее описала.

Когда их родственница, приехавшая к нам в Москву, привезла с собой какие-то сибирские «постряпеньки» и все уговаривала меня, чтоб я ела, ела и ела, свекровь сказала:

— Нет, Нюся, не соблазняй девочку. Ей надо сохранить хорошую фигурку...

Что в корне разошлось с мнением Дашонки, которая возмущенно высказалась так:

— Нечего теперь бояться. Это пусть незамужние за фигурой следят. Тебе надо быть в своем теле, а то муж любить не будет!

Дашонка с моей свекровью в великой дружбе. При встрече они целуются, называют друг друга «сватьяшка» и пьют вместе чай. Любовь Иннокентьевна говорит, что Дашонка (это имя происходит с французским прононсом) немножко простовата, но что это только по одной причине: недостаток общей культуры! А в душе она вполне интеллигентна (эта интеллигентность у нее врожденная) и что вскорости, после небольшой полировки (отучить ее говорить «сгинается», «чажечка» и т. д.) ее смело можно будет ввести в общество Ираиды Васильевны.

— И чего ты только на ее крысишься? — идет на меня лбом Дашонка, — тебе бы ноги ее мыть, да воду эту пить. Женщина хоть и образованная, а ничего из себя не ставит...

Она что-то вспомнила, по-видимому тесно относящееся к делу:

— Вон Сюся-то твоя, Сюрмюльская, бегают везде, как чумная, все блат ищет... А зачем? Племянницу свою, кобылу эту, Люку, в Институт Иностранных Языков хочет отдать. Что, может, как Ника... — Дашонка ехидно ощерилась, — да только напрасно, все равно лошадь эта никого собой не прельстит...

Ну какое же отношение все это имеет к тому, что у меня хорошая свекровь?



— Нет уж, какое образование ты ни получи, а дура ты была, есть и будешь, — вдруг неожиданно обратилась ко мне Дашонка, — и ничего ты из себя не докажешь...

\* \* \*

Да, все это правильно. Свекровь у меня только с маленькими недостатками. Муж, Геннадий Тиунов, почти идеальный и самая в смысле служебной карьеры и вообще положения в жизни (это уже ясно) — намного впереди всех своих подруг.

И чудная мебель... финский письменный стол и секретер, самый хороший холодильник «ЗИЛ» и самый дорогой телевизор «Рубин» теперь у меня...

На «Антигону» в постановке Охлопкова в зале Чайковского? Пожалуйста! Ночами люди стояли за билетами, а Геннадий достал мгновенно через партком на работе.

На «Милого лжеца» во МХАТ? Сделайте ваше одолжение. Вот два билета в пятый ряд партера (я как-то с презрением обронила услышанную где-то фразу, что я драматического театра дальше шестого ряда партера не признаю).

В тур-поездку за границу? Извольте, матушка-барыня! Теперь это проще простого, не пятьдесят четвертый год. Были бы деньги. А деньги у нас есть. И вот уже почти на руках две путевки.

Сейчас я кандидат (блестяще прошла весь испытательный срок) и через три месяца стану членом партии.

О чем еще могла мечтать сопливая девочка из подвала?

И моя знакомая, Эрика Ивановна, эстонка, приезжая из Таллина, крепко, искренне целует меня и, покачивая головой с аккуратными завитушками, по-старинному приговаривает:

— Владенька, золотко мое, деточка моя, дуся моя, я так рада из-за вас!

Я, действительно, должна считать себя очень счастливой...

\* \* \*

Но отчего же... отчего?

. . . . .

«... много лет подряд у меня с середины декабря начинаются переживания и тоска. Так я встречаю первые шаги Нового года уже очень много лет. Больше всего беспокоит меня настроение — проснусь и такая тоска сжимает сердце, что еле находишь в себе силы встать и бежать осматривать здешние «достопримечательности». Теперь у меня все есть, и мечтать не о чем. А я мечтаю.

О безлюдьи. О рубище. О Соломенной сторожке. Может быть, спасение в том, чтобы забраться в каменную цитадель, отгородиться от гортанного джаза пуховыми подушками и перинами и читать Писемского? Сколько раз я ругалась с Тamarочкой и Сюсей, а теперь мысли о них и жалость доводят меня до исступления. Что делать? Панцирь не купишь, да и жизнь любую броню продырявит. И вот еще один Новый год, потом будет еще один и еще один, и с каждым разом будет уходить из души самое хорошее, а свежими ощущениями, увы, не заполнятся образовавшиеся оазисы пустоты. Иногда я чувствую, что на меня надвигается тоска, граничащая с отчаянием. Я стала уже давно замечать, что мои дни постепенно теряют яркость, в душе гаснут какие-то огни, и только любознательность, несмотря на мою природную застенчивость, заставляют меня изо дня входить в новый день. Мое духовное обогащение только немного пополняется у меня свежестью впечатлений от людей и от новых мест. А самое главное, что меня теперь стало угнетать больше всего — это галоп времени. Наступили какие-то короткие времена. Мы перестали ощущать, что такое «вчера», еле чувствуем «сегодня», — едва-едва успеваем схватить это «сегодня» за ускользящий хвостик. И все, как один, мчимся в «завтра». Я тоже мчусь. Потому что теперь время не бежит, не летит, не скачет... Оно мчится. Со скоростью света.

Иногда, если у него хорошее настроение, ОНО решает пошляться между людьми. Я здесь часто встречаю его. ОНО такое высокое, прозрачное, с раздувающимися ноздрями. Устало — дышит, как паровоз. Постояло, постояло, покачалось на тоненьких ножках, поскребло в затылке, — и помчалось дальше...»

. . .

Прошло уже несколько лет с тех пор, как самолет ТУ-104 увез вместе с Птицей половину моей жизни.

Тетя Тamarочка, радостно причмокивая, читает мне все ее письма, наполненные счастьем и благодарностью всем богам мира за свою судьбу. Она читает мне все Птицыны письма и просит показывать и давать ей читать все, что получаю от ее дочери я. Я даю ей длинное, смешное письмо, утаивая второй листок, на котором написано: «только для тебя». На этом втором листке все, что было написано выше.

Я просматриваю все фотографии, полученные Тamarочкой, и показываю присланные мне, с дурацкими, хулиганскими и остроумными надписями, утаивая только одну, на которой она си-

дит под экзотической пальмой, опустив свою голову с Дондер-Шишем.

На обороте этой фотографии написано:

Я верю, под одной звездой

С тобой мы рождены.

Мы шли дорогою одной,

Нас обманули те же сны...

. . . . .

Кружатся снежинки, не то грациозно, не то неуклюже, так медленно...

В этом году у нас стоит колдовская, сказочная зима. Деревья в садах стоят хрустально поседевшие уже много недель, на лепке новых домов — сверкающая парча. Диво. Чудо. Безветрие.

Я бегаю по улицам, заползаю в промтоварные магазины и прижимаюсь розовым, горячим от мороза носом к плотно заставленным всякой мишурой витринам магазинов на улице Горького. Я стараюсь избавиться от своей меланхолии, которая стала стандартной. Когда становится невмоготу от холода, я забегаю греться в магазин «Музыка» напротив Большого Мосторга. Из отдела пластинок доносится заунывная русская песня «Кари глазки, где вы скрылись»...

Отогревается мой последний палец на левой ноге, я выхожу из магазина и плетусь опять вверх по улице Горького к Гнездиновскому переулку. Там я долго гляжу в витрину магазина «Хрусталь».

Разглядывая с замиранием сердца хорошенькие вещички, я, по чьему-то дыханию у самой своей щеки, чувствую, что за моей спиной собрался народ. И слышу осторожно-восхищенное:

— А-а-xxx, какая прелесть эти статуи, какая роскошь... вот у них умеют делать...

Потом приглушенно-сдавленный контрвопрос:

— Игде ты видишь статуи?

Статуэтки все стоят в левом углу. Это подделка под богемское стекло. Не то фарфор. Из Германской демократической, импорт.

Вдруг вышла на витрину девушка, работница магазина, и поставила в угол чудесную изящную вещичку. Это была красивая заводная игрушка «Жар-Птица». Включилось электричество, и ее перья начали менять цвет и полыхать то красным, то зеленым, то фиолетовым. Хвостик переливался ало-голубоватым, ножки бежевым, а клюв...

Вместо клюва у Жар-Птицы было настоящее человеческое, девичье лицо. Оно то смотрело на вас и как будто улыбалось, то хмурилось, то собиралось плакать, а однажды, на мгновение, когда световые блики побежали неровно — ее лицо стало противным и злым.

Лицо Жар-Птицы, ее хвост, ее перышки, мерцающие и переливающиеся, были похожи на те собранные вместе крошки, крупы и кусочки миражей, снов, полуснов, мечтаний, иллюзий и фантазий, которые создавали впечатление сказочной красоты, часто терзающей нашу Птицу Жарову.

В те моменты она вдруг спешно начинала менять фотографии подруг на своем письменном столе и вместо Эмки Кукуй и меня ставила Клавку Березкину...

Или вдруг заявляла, что была бы самым счастливым человеком на свете, если бы у нее дома был камин.

Или аквариум с рыбами...

Чтоб перед глазами все время что-то плыло, чтобы не переставая за чем-то следить...

Как принцесса Мистилис у Гофмана внезапно превратилась в фарфоровую куколку, так моя игрушка Жар-Птица в магазине «Хрусталь» на улице Горького внезапно стала:

Гамаюн — Птицей Вещей,

Сирин — Птицей Радости,

Алконост — Птицей Печали,

Щебечущей веселой Птахой, пожилым лысым попугаем, длиннохвостой скромной серой пичугой, бестолково мечущейся курицей, — и, наконец, той

Синей Птицей Счастья, — без которого умирает дочка соседки Берленго...

. . . . .

В витрине магазина люди видят игрушечную Жар-Птицу, обернутую кусками ваты, а я вижу Нику Жарову, занесенную своей мечтой...

Она автоматически повернулась, улыбнулась, заиграла всеми цветами и тихо чирикнула:

«Ах, не называйте меня Жар-Птицей, зовите меня просто Нюрочкой...»

Над головами гуляющих под Новый год огромная реклама с девочкой-толстушкой излучает:

«А я ем — повидло и джем!»

Свет от рекламы подобрался ко мне, побежали блики, я ловлю их на лице...

Тепло Жар-Птице в витрине магазина, холодно мне на улице под Новый год, над верхней губой — беленькие усы...

Вытираю горячий розовый нос...

Стою, смотрю на мороз...

\* \* \*

Я с удовольствием всем поддакиваю, что Птица, конечно, милое, но погибшее создание.

— Шалая девка... Ну подумай, какую штуку отмочила? — говорю я нашей школьной приятельнице, Лиле Валицкой, работающей в Министерстве иностранных дел.

Лилька, едва не умирая от зависти, пожирает меня глазами:

— Так неужели та история, с французом, именно с ней приключилась? У нас все в Министерстве тогда только об этом и говорили. Ну и история... Опупеть.

— Да, опупеть, — спокойно подтверждаю я.

— Неужели это правда, что он набросился на нее прямо при всех на приеме и давай целовать?

— Правда.

— И прямо всем в лицо тут же заявил, что не уедет в свою Францию без нее? Но... уехал все-таки?

— Тогда уехал, а через год вернулся, — говорю я разбитным голосом, специально для того, чтобы доконать Лильку, — приехал и привез ей старинное русское золотое колечко с зелеными хризолитами...

Это колечко теперь у меня, на правой руке, на безымянном пальце.

— Вот, смотри.

— Так почему же оно у тебя?

. . . . .

Это колечко предназначалось для Птицы. Для самой красивой женщины, которую встретил в Москве Жорж Фурниаль. Левка Галлендер, — помните его? — узнал про это. Он ведь по-французски немного лопочет. Вот он Жоржу, мужу Птахину, и говорит: «Ника хоть и красивее Владьки, а в смысле русско-сермяжности — Колотушкинская во сто раз в этом смысле переплюнет ее»...

И отдали они это колечко мне...

. . . . .

— Молодец, все-таки молодец она, — говорит Лилия, вяло

сгребая мокрую сдачу с лотка продавщицы газировкой, — всегда она была оригинальной... Недаром в школе наша историчка говорила, что Ника Жарова или в тюрьму угодит или прогремит на весь мир...

. . . . .

Так это моя подруга Птица встретила на каком-то приеме с французом Жоржем Фурниалем, предок которого сто пятьдесят лет назад похитил в московском особняке колечко с зелеными хризолитами, влюбилась в него, потом переписывалась с ним целый год и наконец...

Да, она.

Так это она «как смелый Сокол в борьбе с врагами» истекла «кровью», перелетела через океан и сидит теперь на кончике Эмпайр Стейт Билдинг?

Да.

Так это она пишет мне в письмах: «Я горжусь Гагариным и Титовым, но злюсь, что ты зовешь меня обратно, в случае, если жизнь не удастся. Кричу, что никогда, никогда не вернусь обратно в наше болото, а сама люблю это болото больше всего на свете...»

Да. Да.

И неужели Птица Жарова «погибоша, аки обри», исчезла без следа, для всех, кроме меня?

Да, она.

. . .

Не знаю, как мне описать историю моего возвращения к Дашонке, юмористически или серьезно?

Пятого декабря, в День Конституции, подождав, пока Гена и его мать уйдут на вокзал встречать знакомого из какой-то немыслимой сибирско-алтайской Белокурихи, я быстренько свернула свое одеяло и подушку в валик, надела на все это чехол, перетянула его дорожными ремнями и отправилась на Тверскую-Ямскую.

Я возвращалась на Тверскую, я уходила на Ямскую. К своему дому, на ту улицу, которая названа в честь моих предков.

— А-а-а, — прохрипела Дашонка, открыв мне дверь, — ба-а-тютшки! Да она с узлом!

— А я что говорила? — бойко оскалившись, затарахтела сидевшая за чаем тетя Дуся со старой квартиры, — пришла? Ну-ну... Много здесь вас, не надо ли нас? Так выходит?

Угораздило эту стерву придти именно в этот день в гости.

Правда, я так выразительно на нее посмотрела, что через пять минут она выкатилась из нашей комнаты, как мячик.

Дашонка тогда мне больше ничего не сказала и не потребовала никаких объяснений, но вечером того же дня долго плакала в кухне перед Евгенией Юрьевной и ее очень старой теткой Верой Конрадовной, которая из любви к животным оставила доходную профессию корсетницы и пошла работать в Зоопарк. За этот альтруизм один из тигров при кормежке проглотил ее перчатку...

Дашонка плакала в кухне, а я подслушивала из ванны.

— Ой, Евдень Юрьевна, ой-да Вера Кондратовна, — рассказывалась она от тетки к племяннице, — да разве я когда об этом думала, да разве я мечтала?

В новой хорошенькой ванне уже развесили старые корыта, тазы, кадушки, а выше всех, под потолком, я узнала наш порыжелый окоренок.

В один прекрасный день, когда никого их не будет дома, я позову с нашего двора бойких школьников, которые занимаются сбором металлолома, и отдам им все это допотопное барахло.

О чем это она там не думала, о чем не мечтала?

— В подвале жили, в обще-житии... Белый хлеб я ей только с получки брала, все в эти дни она меня никак дождаться не могла. Сама я тогда молодая осталась после мужа, мне бы жить... А как подумаю, что она у меня голодная сидит — никакие мужики на ум не йдут...

Реакции со стороны интеллигенции не было пока никакой, так как неизвестно было, чем моя Дарья закончит...

— Ну что, думаю? Счастливее меня человека не будет, если она хотя на кастиршу поступит учиться...

— Ну что вы, Дарья Федоровна! Какая там кассирша? Да даже я, со своей Томской зубоврачебной школой, ей в подметки не гожусь.

Так сказала Евгения Юрьевна. Вера Конрадовна поддакивала.

— Это только у нас в стране возможно, чтобы девочка из такой семьи окончила аспирантуру, стала старшим научным сотрудником. А вид? Самый настоящий интеллигентный... Превосходная девушка...

Я со злостью вспомнила, как недавно, когда мы разговаривали, она вдруг мне тихо сказала:

— Владенька, не надо говорить «пора разбираться», если вы собираетесь идти спать. Это выражение вам совершенно не идет...

Таких замечаний я боюсь больше всего на свете.

И вся их беседа мне кажется нудной. Как жаль, что мне не десять лет...

Тогда, в один прекрасный день, после грандиозной порки, Дашонка заперла меня в холодную кладовку, нарочно вывернув лампочку: знала, что этого я боюсь больше всего, потому что в кладовке жили крысы.

Долго я редела в адской темноте и умоляла ее простить меня, давая честное пионерское, честное ленинское и честное сталинское под салютом «всех вождей», что это не я. И жалобно завывала при этом таким образом:

— Ой, я нечаянно, ой, я больше не буду, ой...

— Говори, кто тебя научил, тогда отворю... Если сознаешься, что Ника Жарова подговорила, тогда прощу...

— Нет не Ника, нет не Ника... Ой-й... Да... Да-а-а... Это она. Она-а-а...

Дашонка нарочно хлопнула дверью, чтоб я подумала, что она надолго ушла из дому.

Тогда я от злости взяла кусок кирпича, которым одна из старух нашего общежития придавливала кислую капусту в ведре, и начала по очереди колотить им по висящим на стенах корытам и тазам:

Раз — до

Два — ре

Три-четыре-пять — ми-фа-соль...

Дашонка не выдержала, выволокла меня из кладовки и отстегала бельевого веревкой.

Из кухни кто-то радостной скороговорочкой жужжал:

— Так-так-так... Всыпь ты ей, Дарья, хорошенько, чтоб она чувствовала, какой-такой человек товарищ Сталин есть...

Кажется, мы с Птицей решили осудить всех взрослых за то, что они подлизываются к товарищу Сталину. И так знаем, что он хороший...

Вожатая в школе на нас пожаловалась.

— Прекрасная девушка, чудесная, просто образец новой советской русской молодежи, — продолжала Евгения Юрьевна, — только не пойму, почему ей все ничего не нравится, отчего мужем она недовольна, что же ей еще нужно?

— Да идол только один знает, что ей нужно... — взвихрилась Дашонка.



\* \* \*

Но все Дашонкины лупцовки, все наши словесные перепалки и перестрелки — все, все забыто мною.

Я больше никогда не буду злоехидно вспоминать, даже в шутку, как она ругалась с санитарной комиссией, которая пришла обследовать гигиеническое состояние нашего подвала.

— И не подумаю форточку открывать, — заявила она, — я выросла в подвале и привыкла к спертому воздуху. И она пускай так же растет.

Буду делать вид, что она никогда не говорила, что громко икать после обеда — это не то, что «ничего особенного», а очень даже хорошо, потому что это «душа с Богом разговаривает».

Никогда никому не скажу, как несколько раз в жизни я умирала от стыда за нее. Первый раз — в школе, еще в третьем классе. На общем родительском собрании учительница наша, Надежда Фроловна, давая каждому ученику характеристику, заявила, что одна из лучших девочек в классе — это Владя Колотушкина: по поведению, по прилежанию, по послушанию и по успеваемости.

Просила тов. Горячеву, Дарью Федоровну, поделиться опытом воспитания девочки Влады с другими родителями.

Дашонка еле вылезла из-за крошечной парты, храбро моргнула и сказала:

— Дак, что ж там делиться-то... Вы, люди с высшим образованием, на них, на шылпану эту, время свое тратите, учите их, в музеи с ними да на всякие утренники да экскурсии ходите, — ну и мы тоже им самовольничать не позволим. Она у меня без баловства.

Родители насторожились.

— С девочками, с разными, — говорит, — дружу... С Никой Жаровой, с Эмкой Кукуй. А я ей повадки на это не даю. Что еще, говорю, они из себя представляют, эти Ники да Эмки?

Дашонка гордо оглядела аудиторию.

— И вы, товарищ учительница, пожалуйста, с моей не церемоньтесь.. Если забалует чего или на замечания отвечать вам начнет, прямо дайте ей линейкой по голове, да так, чтоб язык откусила.

Тетя Тamarочка, тоже бывшая на собрании, растрезвонила всю эту историю с выступлением моей Дашонки дома. Она возмущенно пищала, обращаясь к Владимиру Дмитриевичу:

— Что же это, сама тетка велит свою племянницу по голове бить? Вот что значит жить без родителей! — Тamarочка бросила победный взгляд на дочь. — Как там ни говорите, а какая бы хо-

рошая тетка ни была, а все равно, далеко ей до родной матери...

— Нет недалеко, нет недалеко, — вдруг смело тоненьким голоском завопила Птица. — Очень даже недалеко! Они всегда, когда кушают в воскресенье, то Дашонка ест хлеб с маргарином. А Владька-то мажет маслом...

Многое, многое я стараюсь забыть и простить Дашонке.

Но, по правде сказать, то, чего я стыдилась в детстве, теперь меня смешит и начинает мне даже страшно нравиться.

Лет семь, восемь назад я бы умерла от ужаса, а теперь я смеюсь и радуюсь...

Например, такому случаю.

Любовь Иннокентьевна, моя почтенная *belle-mère*, пришла как-то после свадьбы к Дашонке в гости на Тверскую-Ямскую.

Осторожненько зачерпывала ложечкой чай и переливала его туда и сюда в стакан, чтобы он поскорее остыл. Дарья же моя обожает чай-кипяток, хотя давно уже все знают о том, что очень горячий чай — главная причина рака. Тысячу раз я ей об этом твердила: как горох об стену.

Вот сидит Любовь, сначала остуживает чай, а потом глотает его с сильным горловым звуком.

Этот горловой звук выводит и меня и Дашонку из себя.

Наконец, та tante не выдержала, подвела брови почти что под самую новую прическу, сделанную в парикмахерской, в подвальчике, утром того же дня, чтобы выглядеть культурно, и сладеньким голоском деловито сказала:

— Да вы лучше с блюдечка, Любовь Иннокентьевна! А? С блюдечка-то хлебче!

— Конечно, хлебче! — совершенно естественным голосом подтвердила я и с удовольствием заметила, что моя богоданная маман — на грани обморока.

Я все прощаю своей тетке Дашонке, лупившей меня в детстве за то, что я выпивала с одним кусочком сахара не четыре стакана чаю, а два, выдававшей мои детские секреты всяким Настькам и Дуськам, плевавшей мне в глаз, чтоб излечить меня от ячменя (а между прочим, ячмень на другой день... прош-ш-ее-л...) беспощадно гнавшей меня «взамуж», когда я выросла — вот за что.

. . . . .

В те ужасные дни, когда кто-то решал вопрос о Птицыной жизни или почти смерти и она приходила к нам, садясь с жутким лицом на диван, почти ничего не говоря...

— Ну что ты, дочк, что? — с абсолютно непритворной неж-

ностью говорила Дашонка, — не денежный он, что ли? Так ты плюй, плюй на это... Самое главное, что человек хороший, вот что... Не то что наша гольтепа... А остальное...

Птица как-то необаятельно улыбалась.

— Ничего, ничего, — продолжала Дашонка, — в настоящий данный момент времени наше правительство лучше стало. Товарищ Хрущев-то... Это тебе не тот, разочаянный, чтоб его на том свете... Хоть и не хорошо так про мертвого говорить, а...

Странно или нет? Эта болтовня (чтобы прекратить которую я в другое время бы просто крикнула: «да заткнись ты!») как-то успокоительно действовала на нас, особенно на Птицу.

Так иногда бывает очень поздней московской весной: прошел голубоватый ледоход, стало сухо-сухо, — детей давно пускают на улицу без шарфов и варежек...

Сядешь у Китайской стены, нарочно закроешь глаза.

И все так спокойно...

И все безразлично...

А Дашонка все суежилась.

— Да на кой ты им? Ну на кой? Отпустят. Уедешь и все. Мне не веришь, ладно, а ты вот Ивана-мордвина спроси, он врать не станет!

Птица улыбалась уже более выразительно, а Дашонка все больше и больше воодушевлялась.

— А как объявят тебе, что ехать можешь, то тогда магарыч с тебя. Поставишь, нет? Поллитру? Только не белого, ну его к лешему. А сладенького, женского. Портвейнцу или наливочки, или, лучше, знаешь, сливянки? Ох и люблю я ее, густая такая, а уж вкус, вкус... В старое-то время ее только богатые да цари наверно пили... Нет ее лучше. Уж богатые-то знают, что хорошо. И всего девяносто копеек бутылка, по новым-то...

Дашонка крепко и уверенно сложила руки на груди. Сделав вид, что она уловила в глазах Птицы желание с ней спорить, она продолжала:

— А я тебя категорически заявляю, что отпустят. Ту, из гостиницы «Украина», помнишь? Ольга Ивановна еще Владе рассказывала? За американца вышла ведь! За аме-ри-кан-ца! Нет их опаснее! Одни шпионы среди них. И то разрешили ей. А французы гораздо лучше... Нет, нет, ты и не сомневайся.

Потом садилась на стул и нарочно низко выгибала спину, чтоб ее лицо было точно на уровне Птицыного.

— А что не денежный человек, так ты на то плюй. За границей-то, говорят, все дешево и все есть, не то, что у нас.

Я поняла, что разговор только еще начинается.

— Да разбей их в дребезину, захожу это я в Кондитерские Изделия вчера, хотела было...

Дашонка и сама почувствовала, что она отвлеклась.

— А как туда приедете, так сразу ты от него другое колечко обручальное требовай. Тебе надо теперь солидное. А то это какое-то скромное...

Я с завистью глядела на тоненькое изящное обручальное колечко, которое было привезено Птице из Парижа.

— И шубу цигейковую справь себе. Видела я тут на одной иносранке... Подкралась, пощупала... И-э-хх... Как настоящая...

За всю эту сцену, происшедшую на моих глазах (такого-то числа, такого-то года) — я прощаю Дашонке все.

\* \* \*

На аэродроме она останавливала на себе удивленные взгляды.

— Почему у русских женщин такие толстые ноги? — меланхолически пролепетала тощенькая американка, глядя на Дашонкины валенки, вернее, чесанки, заправленные в галоши, — я вся буду с одну ее ногу...

Я любовалась пушисто-голубеньким бэби, которого в пластмассовой ручной кровати нес некрасивый индус.

— Ой, Владь, да ты только посмотри, что выдумали. Надо же...

— Тише ты, неудобно...

Мы сидели в новом огромном зале ожидания Внуковского аэропорта. Вылет все откладывался, да откладывался. Через полчаса полетите. Потом еще через столько же, еще...

— Девушка, — жалобно вякнула я в окошечко «Справочное Бюро», — скажите, вылет откладывается из-за погоды, или...

— Какой аэропорт назначения?

— Париж.

— Нет, не из-за погоды, — величественно-таинственно отрезала девушка.

Какой ужас! Может быть, передумали? Сейчас подойдут к Птице, отнимут заграничный паспорт. Его на самолет, ее...

По каше — грязи, смешанной с опилками — за спиной защелкали шаги: ерой Толька и мордвин Иван!

— Уф, насилки... Уж думали, опоздаем... Машина забуксова-

ла... — Иван с достоинством вытер мокрый нос своим клетчатым, «под заграничное», кашне. Потом раскрутил его с шеи и стал обмахиваться...

— Тольк! Здорово! И ты приперся! По собственной инициативе или по заданию?

— Я вот те дам по заданию! Как двину — ни пуха ни пера не останется.

И двинул меня слегка под вздох.

ГРАЖДАНЕ ПАССС...

Мы, все трое, крупно вздрогнули.

Я.

Ерой Толька.

И мордвин Иван.

Дашонка в это время развлекала своим веселым бормотаньем Птицу, Тamarочку и Владимира Дмитриевича.

Птица держала ее за руку.

— Даш, ты рассказывай все время что-нибудь...

— А я что делаю? Да уж больше не знаю, про чего... Все пересказано...

— Ну опять про то, как Владька тебя в войну в тревогу бросала на крыше одну. Помнишь? Ты зажигалки тушила, а она без тебя с документами в бомбоубежище бегала... — Птица всмотрелась вглубь аэропорта. — Ой, вон она с Толькой и Иваном идет... Какая она, все-таки, у тебя хорошенькая.

— Да что в ей хорошенького?

— Да-а, что... Даш!

— Аюшки?

— Я боюсь...

— А чего? Теперь уж все. Будет все так, как Дарья говорила. Приедешь, посмотришь... Оденешься, конечным делом. Щеколад будешь есть сколько хочешь без оглядки и на машинах ездить, как в заграничных кинофильмах...

Потом вдруг ни с того, ни с сего, с видом «Маруся отравилась», постно прибавила:

— Ты смотри, не груби там...

— Кому?

— Свекрови. Кому же еще?

Птица, мило взвизгнув от восторга, перевела все «ему», и он в ответ что-то плавно и красиво пропел. И так же, как Птица, прелестно улыбался и покачивал своей ежеобразной головой.

Дашонка поддакивала мычанием «угу, угу...», а в конце его тирады махнула варежкой направо — как будто все поняла — и заявила:

— Да-а, знаю я их... Что она, что Владилена. Пара пятак.

Птица вынула из кармана Тamarочки пятак и объяснила ему, что значит на русском языке это идиоматическое выражение.

**ГРАЖДАНЕ ПАССАЖИРЫ..!**

Я смотрю на кусочек желтого картона:

Самолет ТУ-104

Посадочный талон

Ваше место № 11-а

Подбирая пальто чуть не выше колен, чтобы не забрызгаться грязью, появилась... художница Сюся.

— Я здесь раньше вас всех. Все не рисковала подойти. А теперь можно. В суматохе незаметно...

— Сюсенька, а вы не боитесь?

— Пусть они насыпят мне соли на хвост, пусть они поцелуют меня в одно место, — радостно заклохтала эта неисправимая Сюся...

Вдали замаячил мощный торс фрау Ольги. С накрашенными губами, напудренной, при шляпе. Она подошла, осторожно покачиваясь на высоких каблуках.

Из большой сумки вытащила пакетик.

— Ника! Вот тебе. Пирожков на дорожку. Правда, на этот раз неудачно. Ну никакой крепости в дрожжах... Прямо не пирожки получились, а моральные уродики...

И воровато прибавила:

— Ты ему не давай, еще отравится... А наших бортпроводниц угости. Это ничего. Это можно.

Потом незаметно поманила Птицу в сторону и несколько секунд что-то шептала ей на ухо. Птица вернулась, вся дрожа от возбуждения. Фрау Ольга важно осадил подбородок на шею и стояла с видом человека, сделавшего свое дело, а от Птицы к Тamarочке и Сюсе, как по телефону, неясным бормотком понеслось: «ты, если захочешь опять сюда, мать с отцом навестить — выезжай только в том случае, если дадут тебе сразу въездную-выездную визу, а то опять волынка эта начнется...»

**Граждане пассажиры... ГРАЖДАНЕ ПАССАЖИРЫ...**

— Дети мои, мобилизуйте себя... Без слез, без сцен... Будет все, как по нотам... — Сюся командовала парадом, — ну, дети мои, ну...

Ну!

Новое место, новое счастье!

Толпа отъезжающих двинулась к загородке, где проверяют паспорта и билеты. Их начали обнимать, целовать, давать советы...

А меня как молниейшибло. Спряталась за Толькину спину и молчу, как сундук, окованный железом. И не могу подойти, и ничего сказать не могу.

И Птица меня забыла, пока не услышала воркующее: «тэ з ами, тэ з ами...»

Это он ей напомнил про меня, и она, со своим всегдашним прелестным оживлением вытянула меня своим хорошеньким пальчиком за пуговицу...

Как-то нам было неудобно прощаться по-настоящему. Все усталились... Сюська все приговаривала: «Ну... ну...»

Птица лихо хлопнула меня по плечу.

— Ну, Владька, гудбайчик... Давай сольемся в страстном поцелуе...

И я, не менее лихо, ответила ей любимой шуткой нашей юности. «Хохмой», взятой из арсенала бесконечных прощаний (Москва-Ленинград) с Эмкой Кукуй:

— Шрайб открыткес... Мелким почерком...

\* \* \*

И опять я живу с Дашонкой, в новом доме на 5-ой Тверской-Ямской...

Поем вместе по вечерам дуэтом прелестную старинную песенку «Я выхожу на белую дорогу», которой Дашонка выучилась в трудколонии. Автор ее нам неизвестен.

Ходим вместе по субботам в баню — несмотря на то, что у нас есть ванна. Обязательно в Сандуны и обязательно в самую дешевую, за десять копеек.

В парилке я ей кричу:

— Дашонк, а ведь здесь, в Сандуновских-то, еще Пушкин мылся!

— Да ну?

На полу, на чугунной решетке для стока воды, выбито: «Санктъ-Петербургъ, 1825 годъ».

В конце апреля, взяв по ведру, мы отправляемся на угол, в Цветочный магазин покупать свежую землю, чтоб пересаживать фикусы, забранные с Солянки. Без них, как без сплетен, я никак не могла привыкнуть к новой квартире.

— Что-кась? — радостно рычит Дашонка, — комната без

цветка — не комната! И кровать без подушек — не кровать! Не могу я этого снести!

Все верно. И я не могу этого снести.

И мы опять водрузили на свои кровати по восемь думок.

По вечерам Дашонка спит у «еле-визора» и читает запоем. «Анна Каренина» ей совсем не понравилась:

— Глупостями раньше занимались. Из-за кобелей этих да под поезд кидаться? Поработала бы с мое, так...

Я покупаю огромные соленые помидоры бочечного засола и, всасываясь при Евгении Юрьевне в них на кухне, точно так же, как и Дашонка, с упоением говорю:

— Помидорчики кисленькие давали в бакалее... Ну как не взять?

Как я ни пытаюсь поскорее выскочить из круга, пока кольцо еще не замкнулось, как ни пытаюсь сделать ручкой «адью» своему прошлому, у меня ничего не выходит.

Я опять живу с Дашонкой и счастлива.

И никого я так не люблю, как ее.

• • •

В Пушкино, в бывшем Царском Селе, в лицее, где учился поэт, висят портреты его товарищей по учению. И под каждым — какое-нибудь «изречение». Под Илличевским, кажется, написано: «Мы счастливы, что тень славы Пушкина пала и на нас...»

Я не знаю, удачно ли я рассказала историю Птицы, хорошо ли отблагодарила ее за то, что и на меня пала тень ее славы?

Ведь до сих пор меня распирает гордость от того, что мне непрерывно звонят на работу почти незнакомые писатели и журналисты, не только иностранцы, но и наши, и просят дать им какие-то сведения, какие-то подробности, которые кроме меня никто не может знать... Они хотят писать о ней роман.

Роман пишу я, но я совсем не уверена, что рассказала ее историю хорошо. Многое осталось недосказанным и нерасшифрованным в моей голове.

Например: как понять загадочную надпись на барельефе дома улицы Скворцова-Степанова:

**ВСЯ НАША НАДЕЖДА ПОКОИТСЯ НА ТЕХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ САМИ СЕБЯ КОРМЯТ.**

Как объяснить, что мечта о Соломенной сторожке обуяла нас с Птицей после того, как однажды, крошечными девочками, в деревне у няни Катиной сестры тети Рюни мы увидели живую кикимору?



Я не знаю.

Воспоминания мои — соты, не все заполненные медом.

\* \* \*

Втянув, как черепаха, голову в свой каракулевый воротник, я, подталкивая ногами снег, бреду вдоль по тихому Гнездниковскому переулку. Останавливаюсь перед всеми зеркалами на улице, чтобы поглядеться. Становится совсем темно, вот-вот зажгут свет. Из соседнего окна слабо доносятся звуки: кто-то медленно и осторожно, печально печатает на машинке. Постучит, постучит, а потом несколько минут молчит — наверно, любителю напечатаным. Не достали замазки — не заклеили на зиму окно, и поэтому мне все слышно на улице.

Перед отъездом Птица отдала нам, мне и Эмке, все свои хорошенькие вещи — в ее шапочке и шарфике не то я это, не то... Тетя Маша кричит:

— Ой, обознатушки! А я думала, что это она...

— Кто она?

— Да Ника Жарова. Вернулась...

В предновогоднем воздухе носится какая-то неопределенная тоска. Освещенное окно, не закрытое занавеской, другое окошко, на нем криво висит соломенная маркиза, мальчик на тротуаре почти что плачет — никак не может отвертеть с ноги конек, а рядом со мной ползет в своем фиолетовом шарфике и шапочке неуклюжая, горестная, нет, горькая, страдающая тень Птицы. Я остановилась — и она. Я пошла — и она тронулась. Ее шаги сливаются с моими. Ее тень — моя тень. И чем становится темнее, тем длиннее становится эта тень, тень, которую я никак не могу потерять...

В Новый год, который наступит через два дня, я буду сидеть дома одна. Под Новый год я не пойду ни в одну компанию.

Вчера зашла к Сюсе. Она лежала под шубой, в комнате был страшный холод. В голове ее торчали тряпочки, Сюся закрутила волосы к празднику.

— Сюзенька, где вы встречаете?

Она посмотрела на меня и задумчиво прошептала:

— Что мне сулит Новый год?

Мне он не сулит ничего. И что за радость сидеть одной у пустого стола после того, как все напьются и разбегутся по углам целоваться или выяснять отношения? Как мне стали глубоко противны все эти компании и выпивки в складчину, все эти сборища,

крики, ухаживания каких-то пижонов. А раньше я это так любила! Особенно, когда из-за меня дрались...

На этот раз я буду сидеть дома одна с Дашонкой, Иваном и еще какими-то вахлаками, буду бодро топотать, вытанцовывая под одобрительные визги гостей «сербияночку», и так же, как и они, выть «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда!»

Потом, после того, как компания разойдется, я нарочно долго буду убирать со стола, тихо стаскивая пустые бутылки в кухню. Буду прислушиваться, как в ближайшей квартире бушуют еще неразошедшиеся соседи, и Нинка Коноплева, табельщица с «Серпа и Молота», с чувством поет «Гвоздички алые»...

Знаешь, Птиц? Ведь нам дали две комнаты в новом доме, одну на десять, а другую на двенадцать метров? И Дашонка была на этот раз так необычайно благородна, что согласилась убрать в сундук икону, чтобы не срамить меня перед знакомыми. Икону снять согласилась, а отпуск в деревню взяла специально на Пасху, чтобы там справлять. Даже прислала вдруг открытку: «Дорогая племянница Владя, поздравляю тебя с праздником Пасхи и желаю тебе хорошо провести эти святки...»

Наверное, какие-нибудь старухи научили...

А за исключением этого, внешне Дашонка совсем преобразилась. Я подарила ей свое зеленое пальто, венгерское, из облегченного драпа, велела перелицевать и носить. Заставляю ее делать раз в две недели маникюр светлым лаком.

И хотя теперь она выглядит почти как дипломированный медперсонал, — на вопрос моих новых знакомых о том, как ее имя-отчество, она машет рукой и отвечает:

— Да ну! Зовите просто Дашей — и все.

Что бесит меня до крайности.

Иногда она стонет:

— Эх, приварок-то у нас никуда. Гусятинки ба...

— Ну пойди да возьми полгуся...

— Возьми! А на какие вши? На сколько еще он потянет? У денег твоих глаз нет...

Как-то я нашла у ней под матрасом в старом чулке аккуратно распрямленные рубли, но не стала с ней заводить. Поняла, что копит тайком от меня. Боится, что брошу ее к старости и престану помогать.

Нет, она неисправима.

А я по-прежнему работаю старшим научным сотрудником в

Ленинской библиотеке, кончаю заочную аспирантуру, очень хорошо зарабатываю. В этом году ездила в тур-поездку по Финляндии, многое увидела своими глазами. В общем, ничего особенного, я ожидала большего, но отдохнула очень хорошо, или, как мы теперь говорим, «образно». И вообще все у нас стало чудесно. Почти треть Москвы переехала в новые квартиры, люди устали от новоселий... Все теперь хорошо и будет лучше.

Птиц, а Птиц, вернись?

. . . . .

По вечерам мы будем сидеть в нашей новой квартире и, тупо выставив лбы, смотреть телевизор. Летними вечерами будем гулять по любимой нашей сонной Малой Ордынке. Будем ездить на 3-ем троллейбусе на Каляевскую за горячими бубликами. Будем бегать на самую маленькую улицу Москвы, Ленивку, четыре дома справа и три слева, к нашей милой Александре Ивановне, вышивальщице, и рассказывать ей свои любовные истории...

Приезжай обратно! Птица, приезжай!

Если, конечно, ты жива...

\* \* \*

Художники Возрождения любили изображать себя самих на своих картинах в качестве свидетелей или участников происходящих событий. Одни из них — сладострастно подсматривают из-за занавески, как старцы, за купающейся Сусанной, другие только присутствуют в качестве равнодушных участников, а третьи...

Рядом со мной по московской улице ползет горестная, страдающая тень Птицы, тень, которую я никак не могу потерять...

\* \* \*

Иногда, меланхолически прогуливаясь одна по улице Горького, по нашему московскому Бродвею, я встречаю Птицыну любовь — Игоря Маянца. Еще издавлек узнав меня, он начинает кашлять, вынимает носовой платок и трет глаз. Он не хочет здороваться. Боится, что я остановлю его и начну разговор о Птице.

Равнодушно и медленно придумываю я эпитеты для Игоря Маянца.

«Барахлюк», «кусок», «довесок», — самые невинные среди них.

А может быть, я только и мечтаю, чтоб он меня не останавливал? Только и думаю о том, чтоб он, действительно, не заметил меня и прошел мимо? Потому что волнуюсь и не знаю, что именно мне начинать плести, если он захочет поинтересоваться тем, как

она сейчас живет и «с кем живет». Но я не имею представления, в каком виде история Птицы, облетев всю Москву и весь мир, дошла до него, что именно он знает о ней и чего не знает, а когда я не уверена, откуда ветер дует — я не знаю, что врать. Не трещать же мне ему, как я это делаю другим, что Ника очень хорошо «устроила свою жизнь», что ей «попался» прекрасный муж и что она всегда, в любую минуту, когда приходит в гости к свекрови, может даже остаться там и пообедать?

Что нашла она в нем, что? — думаю я, вспоминая, как часто я стояла «на часах» внизу парадного на Нарышкинском, дрожа, чтоб Тamarочка не решила заскочить на обеденный перерыв домой и не застукала там свою дочь и Игоря.

Если бы он захотел! Если бы только он захотел!

Слова Дашонки сбылись: однажды, знаю это из достоверных источников, он даже плакал, вспоминая о Птице. И хотя щека у него теперь все время непрерывно дергается, когда в салоне Шкуняевых начинают разговаривать о ней, он остается верен себе и тянет с пижонским видом:

— Да-а-а... Ника Жарова! Вот это была вещь!

Нет, я не хочу, чтобы Игорь Маянц останавливал меня на улице деланно веселым кивком начинающей лысеть головы (Владе — наш экзотический виват!)

Пусть лучше кашляет. Пусть лучше делает вид, что ему соринка попала в глаз...

Мне надо ему отомстить.

За то, что давно, еще в самый разгар их романа, когда Птица ему однажды, сильно покраснев, начала рассказывать о том, что она понимает любовь только так, как показал это Стефан Цвейг в своей новелле «Письмо незнакомки» — Игорь расхохотался на всю комнату и сказал:

— Деточка, так ведь это же в книжечке!

Если бы он захотел. Если бы только он захотел!

Недавно я увидела его впереди себя в толпе, давящейся перед Диэтическим магазином. Ждали открытия после дневного перерыва. Зная, что в наших химчистках не умеют вывести ни одного пятна, я скоренько доела жареный пончик с повидлом, а постно-масляную руку плотно, под шумок, приложила к его шикарному ратиновому пальто...

• • •

...В этот Новый год я не пойду никуда. После того, как они разойдутся, я одна сяду за стол. За стеной завывает Нинка Коно-

плева, в кухне резонируют тонко, как японские гейши, пустые бутылки из-под водки «Московская». На столе стоит пиво «Бархатное»... на новой кровати спит Дашонка, и лицо ее с каждым годом все больше и больше начинает походить на ту икону, которую она так благородно спрятала в сундук. Это сравнение лица русской пожилой женщины с иконой очень затрепано, но что же делать? Это так...

На стенах примостилась спать темнота, и хочется потушить электричество и зажечь свечу. Я зажигаю ее. Моцарт сочинял музыку при свечах. Хочется следить за тем, как ропщет пламя свечи...

Или глядеть на зажженный камин или аквариум с рыбами...

И смотреть, как что-то переливается перед глазами.

Хочется опустить голову на руки и дожидаться того, когда перед глазами забегают оттенки всех на свете цветов. Как хвост Жар-Птицы.

Хочется наслаждаться своей тоской и предаваться легкой грусти — самому очаровательному занятию.

И радоваться тому, что жизнь... так коротка.

\* \* \*

Обо всем, что было написано до этого — я вспомнила сейчас, вот только сейчас, сидя в Москве, на Москворецкой набережной у оставшегося куска Китайской стены. Вспомнила, глядя на черноглазого ребенка Александра Львовича, наблюдая за бедно одетой женщиной, кормящей голубей, слушая поскрипывание голубовато-зеленого льда на Москва-реке.

Возвращаюсь к действительности.

Я, конечно, очень скоро вернусь к Геннадию. Как так? А вдруг все и вправду подумают, что это не я его, а он меня бросил? И вообще зачем я устроила этот спектакль? Кому нужна эта самодетельность? Разве не противны мне самой все эти «поиски себя в жизни?»..

... Итак, не то мой «супр» придет за узлом с подушкой и одеялом, не то я сама потащу этот узел обратно...

Свекровь, наконец-то, уедет, и я опять буду делать перестановку в комнате с помощью художницы Сюси. На ее изумительный вкус можно положиться, и когда она стонет: «Владька, собака, смотри, ведь эта вазочка ну так и просится на пианино, так и просится, как будто здесь рождена!» — я ей доверяю.

Я успокоюсь: перестану ломать голову над тем, эпоха создает людей или люди эпоху, сниму тяжелый кирпич, придавивший мои

мозги, стану называть Геннадия «Гуленькой», буду каждый вечер ходить с ним в салон Шкуняевых, где собираются поэты и поэтессы, беллетристы и беллетрессы, критики и критикессы, — и заживу так же «бодро-весело», как все.

Потом... муж встанет в очередь за «москвичом», купит его, и мы будем каждое лето ездить своим ходом в отпуск в Коктебель.

Затем... через знакомого директора магазина, отца своей секретарши, Геннадий мне устроит нейлоновую шубу. И я, договариваясь с ним по телефону, буду изо всех сил прижимать трубку ко рту (чтоб Зинуха Ножкина не узнала, что мы пользуемся блатом) и шипеть, что я хочу не темно-коричневую, а светло-бежевую, серебристую, такую же, как я видела на Юле, внучке Никиты Сергеевича...

Хоть сама я больше люблю мальчишек с лохматыми головами и в модных американских джинсах — я ничего не буду иметь против, если моя свекровь будет наряжать нашего будущего Андрюшку в бархатные панталончики и отращивать ему кудри до пят. Да, я ничего не буду иметь против этого: надо же как-то отличить моего ребенка от других... грязных...

В нейлоновой шубе я буду ездить гулять с толстеньким Андрюшкой, с самым хорошеньким ребенком в нашем дворе, к Китайской стене. Он будет делать куличики, а я — сидеть на скамеечке, разложив на шубе жирненькие пальчики с импортными кольцами. И голоском, таким же жирненьким, как пальчики, визгливо кричать:

— Андрюша! Андрюшенька! А ты не водись с ним! Не водись! И не смей давать ему наши формочки и совок!

В магазине «Хрусталь» я куплю ему дорогую игрушку, Жар-Птицу. Или лучше на Кузнецком в зоомагазине живую птицу — заграничного попугая Какаду с обручем в клетке.

Геннадий будет пошло шутить: «Американский какаду какает на ходу», — а я, развлекая сына, буду плясать вокруг клетки и припевать:

Вот моя клетка — стальная, тяжелая,  
Как золотая, в вечернем огне,  
Вот моя Птица, когда-то веселая,  
Обруч качает, поет на окне...

. . . . .

А когда постарею, стану точно такой же, как моя Любовь Иннокентьевна... и моя молодая сноха, в ответ на визгливый воп-

рос подруги: «Ну как свекровь-то? Жива?» — будет весело фыркать и звенеть: — «Еще как!»

В общем, я буду продолжать ЖИТЬ. Так, как все живут: кружиться и вертеться, как детский воздушный шар, потом лопаться на неопределенное время, а потом опять наполняться воздухом и продолжать кружиться...

И все забуду.

Забуду, как мы с Птицей зимой часто ездили на каток в Сокольники и как там к нам приставали какие-то хорошенькие грузины, Амиран и Гоги.

Забуду, как мы с ней писали анонимки в юмористическом духе одному дураку — известному драматургу за воспевание новой советской молодежи.

Забуду то, как Ника, однажды, вспомнив, что у нее под пальто только майка, отказалась войти в зал на концерт нашего незабвенного Вертинского. А билет у входа был добыт с таким трудом...

И в конце концов — забуду, кто был из нас Макс, а кто Мориц...

Наверное, когда-нибудь придет она, и, сквозь свой начинающий заплывать жиром мозг, я подумаю о том, что лучше бы не приезжала, потому что я и не знаю, о чем мне теперь говорить с ней. А молчать неудобно.

Только иногда сейчас во сне я жутко вздрагиваю и ору, когда мне грезится, что приехала Птица и увидела меня такой...

\* \* \*

Зачем мне все это? Ну зачем? Обручальное кольцо — первое звено в цепи супружеской жизни, пылесос «Днепр», холодильник «ЗИЛ»? Зачем завистливое лицо Марианночки:

— Ой, Владенька, какая у вас с Геной хорошенькая машина! А ты сама водишь?

Зачем рев на полтора часа из-за того, что в ГУМе разобрали все тряпкодержатели, и когда я туда прибежала, вся мокрая под нейлоновой шубой, то мне достался только «фиг с маслом?»

Зачем теперь, когда Птицы нет, я по ночам одна обливаюсь слезами в снах о Соломенной сторожке?

Зачем все, в чем почти все наши знакомые видели счастье, нам с Птицей всегда казалось жалким прозябанием?

Отчего и зачем — «собака, кошка, мышь жива, а нет Корделии?»

\* \* \*

— Да-а, — крикну я в гостях у моей пожилой приятельницы, Ольги Ивановны Шкапкиной, проживающей в Последнем переулке на Сретенке, — представляю, как она жалеет, что уехала... Свои родные березки это не шутка... Скучает...

— Да ну тебя и с березками с твоими, — мрачно отрезает мне фрау Ольга, — все это ерунда, березки эти. Ты в Вене жила?

— Ну, нет!

— Тогда молчи! А я жила. По себе знаю.

Фрау Ольга задумалась, вспомнив своего прелестного австрийца Герберта.

— Не по березкам она скучать будет, а по своему двору, вот по чему! По тебе, по отцу с матерью, по подругам... По своему двору, словом...

Опять будет весна. Ледоход. У обломка Китайской стены женщина будет кормить голубей.

Я сижу на скамеечке, закрыв глаза. Мне все безразлично...

Подойдет черноглазый ребенок Александр Львович и осторожно спросит: «А как тебя ваут?»

В руке у меня записка: «Владька, сегодня в пять вечера. Приходи.»

Куда — не написано, но это я знаю сама.

Птица вернулась!

Точно так, как предсказывала художница Сюся: не на реактивном самолете, не на пароходе «Квин Мэри», в бриллиантах и закутанная в норковую шубу, а пешком, в лаптях, с посохом в руке, крепко повязанная под самый подбородок нейлоновым платочком и с карманным телевизором в руках.

Побегу в Соломенную сторожку, на остановку трамвая, который всегда развозил нас с ней в разные стороны. Буду бояться и ужасно волноваться, не перепутала ли я место нашего свидания.

В этом замкнутом, сказочном дне мы опять будем переживать спокойные, забытые наслаждения нашего детства. Будем ощущать вокруг себя сонную тишину дома, заросшего до окон травой, мир мокрой собаки и самоката Вити Ксенофонтова, мокнущего в луже. Из окна домика будет выглядывать Марья Афанасьевна, которая наконец-то села в пустой трамвай, доехала до Соломенной сторожки и нашла своих детей...

Она будет сидеть у окна и процеживать напиток морского гриба, стоящий в огромной банке на окне...



— Марья Афанасьевна, — скажет Птица, — я пришла попросить у вас отросток этого гриба...

Так вот оно что! Значит, это правда? Ее звали сюда не родные березки, а этот мохнатый подсолнечник, этот мокрый Витин самокат, этот любимый ею селедочный хвостик в подсолнечном масле!

Этот напиток морского гриба, вкус которого преследовал ее по ночам!

Брошу Андрюшку, мужа, дом-полную чашу, не возьму даже узла с постелью, помчусь, сшибая прохожих, в Соломенную сторожку...

Услышу за спиной ее нежный смех, «Владька!», — сердце оборвется от счастья, крикну в ответ изо всех сил: «Птица, Птиц...» — оглянусь...

... Никого нет.